

ИЛ

Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

Кэтрин Энн  
Портер

Полуденное  
ВИНО





Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

Katherine Anne Porter

Кэтрин Энн Портер

## Полуденное вино

Повести и рассказы

*Перевод с английского*

*Составление Н. Знаменской*

*Предисловие А. Мулярчика*

**Москва**  
**«Известия»**  
**1985**

И (Амер)

П60

*Главный редактор Н. Т. Федоренко*

*Рецензент М. Коренева*

*Обложка художника А. Махова*

© Составление, предисловие, переводы на русский язык, оформление издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1985

## «Пока хоть листик у надежды бьется...»

Поставленные выше слова из «Божественной комедии» Данте уже были использованы в качестве эпиграфа к роману известного американского писателя Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать». Как представляется, их гуманистический смысл не в меньшей степени созвучен содержанию лучших произведений Кэтрин Энн Портер — современницы Уоррена, еще одного представителя так называемой «южной школы» в литературе Соединенных Штатов.

Отдавшей литературному творчеству свыше полувека своей жизни К. Э. Портер (1890—1980) принадлежит заметное место в упрочении в США направления критического реализма, требующего углубленного философско-психологического исследования противоречий социальной действительности. За эти годы ею было написано не так уж много: несколько сборников прозы, отдельные публицистические работы, а кроме того, нашумевший роман «Корабль дураков» (1962) — с названием, заимствованным у Себастьяна Бранта. Довольно произвольная экранизация романа, осуществленная режиссером С. Крамером в конце 60-х годов, не передает всего многообразия проблем, поднятых в книге, задача которой, согласно авторскому замыслу, состояла в том, чтобы обнажить психологические корни фашистской идеологии и противопоставить культу грубой силы и расовой исключительности нетленные общедемократические духовные ценности.

Заслуженно считаясь одним из лучших американских стилистов, К. Э. Портер и в своей «малой прозе» не отстранялась от социальных горизонтов современной эпохи. Первый же ее литературный опыт, рассказ «Мария Консепсьон» (1922), был во многом навеян революционными событиями в Мексике в начале нашего столетия. В этой новелле заметно и то качество, которое спустя

несколько десятилетий критики назовут (применительно прежде всего к латиноамериканским литературам) «магическим реализмом». Раньше чем кто-либо из ее поколения, молодая писательница обратилась здесь к притчеобразной форме, тесно сопрягающей судьбы обычных людей и движение «континентов времени».

Примечательно само имя заглавной героини, переводимое примерно как «Стоящая у истока всего сущего». В образе мексиканской крестьянки, которая своей статью не уступит знатной владелице гасиенды, воплощена диалектика бытия, объединяющего животворное и разрушительное начала. Органически связанная с природой, набожная и вместе с тем не лишенная деловой хватки, Мария Консепсьон властной рукой вершит нравственный суд, заставляя читателя в этот кульминационный момент невольно вспомнить о проблематике классических трагедий.

Броским контрастом к величавой фигуре женщины из народа выступает у Портер собирательный образ «эмансипированной» горожанки, не без иронии обрисованный в рассказе «Веревка». Визгливый смех и бесшабашная логика, постоянные придирки и способность по пустячному поводу доходить до белого каления создают в общей сложности выразительный родовой портрет безответственного поведения, для которого в американских условиях семейный круг предоставляет единственно надежное прибежище. Причины этого явления кроются отнюдь не в «воспитании по Бенджамену Споку», который дебютировал со своей методой намного позже публикации рассказа Портер. Корни психологического дисбаланса во взаимоотношениях мужчин и женщин уходят в США к временам первых колонистов, и тут писательница лишь продолжала тему, заявленную еще у одного из родоначальников американской прозы, В. Ирвинга, в его хрестоматийном «Рипе Ван Винкле».

В рассказе «Веревка», равно как и в созданных в те же 20-е годы новеллах «Кража» и «Как была брошена бабушка Уэзеролл» (они были опубликованы у нас соответственно в антологии «Американская новелла XX века» и в рамках

приуроченной к 200-летию образования США подборки на страницах «Иностранной литературы»), писательница всецело следует традициям психологического письма, облеченного в лаконичную словесную форму. Подобно Ш. Андерсону, Хемингуэю, Фицджеральду, она стремится восполнить камерность изображенных ситуаций глубоким проникновением в суть человеческих характеров. Героиня «Кражи», женщина из нью-йоркской литературной среды, внезапно приходит к пониманию того, как с каждым днем и каждым годом неумолимо мелеет река жизни, и перед нею раскрывается нехитрый в общем-то механизм бытия.

Жизненный итог обыкновенного, не благодетельствованного судьбой или случаем человека нередко складывается из потерь, из «краж» у самого себя, совершаемых автоматически, незаметно. И вот приходит пора подсчитывать утраты — «...вещи, которые она сама потеряла или разбила... слова, которых она ждала и так и не услышала, и те слова, что она хотела сказать в ответ... долгая терпеливая мука, когда отмирает дружба, и темное, необъяснимое умирание любви — все, что она имела и чего ей не досталось...».

Той же элегической интонацией пронизано повествование о бабушке Уэзеролл — одной из бесчисленных незаметных подвижниц американской истории. К ней пришло многое из того, о чем мечтает, наверно, каждая молодая женщина, вглядываясь в будущее: дом, дети, муж, любимая работа. Трудями таких, как она, создавалась огромная «твоя и моя страна, раскинувшаяся от Калифорнии до Нью-Йорка», как поется в балладе прогрессивного американского поэта и исполнителя своих песен Вуди Гатри. И все-таки было что-то другое, не менее важное, о чем силится вспомнить восьмидесятилетняя старуха, что осталось сжигающим сердце видением юности. Ее избранник отвернулся от Элен — тогда ее еще так звали, — и время остановилось в зеленый светлый вечер, внезапно померкший за клубами черного дыма. Один день ожидания близкого счастья и шестьдесят лет горьких раздумий — вот та несправедливость, совла-



дать с которой можно лишь с помощью надежды на то, что прожитая тобой долгая жизнь не прошла впустую для других.

Помимо отточенности психологического рисунка, своеобразии раннему творчеству К. Э. Портер придавало ее периодическое обращение к «экзотической» мексиканской теме, которая после «Марии Консепсьон» вновь возникла в новелле «Гасиенда». Написанное в начале 30-х годов, это произведение важно сейчас и как напоминание о периоде оживленного сотрудничества между нашей страной и Соединенными Штатами, когда американские инженеры помогали возводить электростанции и промышленные гиганты, а советские режиссеры излагали своим коллегам из Голливуда основные принципы только что осуществленного ими переворота в кинематографе. Богатая «местным колоритом» и внешним драматизмом история любви и ревности близ стен старинной гасиенды вмонтирована здесь в рассказ о «киношниках из России», снимающих по договоренности с калифорнийскими продюсерами фильм о послереволюционной Мексике.

Некоторые конкретные события списаны в «Гасиенде» с натуры. Портер упоминает о том, что в Калифорнии советские мастера экрана значились в «неблагонадежных», а в Мексике их работе не столько помогали, сколько мешали не в меру усердные консультанты и пронирливые «наблюдатели». И все же, следуя уже сложившейся художественной манере, писательница в первую очередь сосредоточивается не на фактической стороне знаменитой кино-экспедиции, а на психологической характеристике своих персонажей.

Брюзга Кеннерли с отвращением относится ко всему мексиканскому и, не выбирая выражений, без разбору хулит местную пищу, обычаи, официальные установления. Наслушавшись его раздраженных речей, рассказчица не без основания противопоставляет им ясный взор и спокойную, полную достоинства осанку режиссера Андреева, одержимого, как и все его русские спутники, творческим

горением. Спору нет, манеры Кеннерли внушают чувство антипатии, но и у этого малопривлекательного американца есть своя правда, которую автор не считает нужным скрывать от читателя.

Живущему в условиях напряженного состязания честолюбий Кеннерли хорошо известны слагаемые успеха, и в качестве менеджера постановочной группы ему приходится учитывать массу обстоятельств. Картина должна быть произведением искусства — это само собой разумеется, рассуждает он, но для того, чтобы завоевать внимание избалованного и разборчивого зрителя, в ней должно быть нечто, особенно созвучное моменту появления на экране. Кеннерли непонятна и чужда неторопливость Андреева: «Когда закончим, тогда и закончим», — так, вполне по-обломовски, отзывается тот о своем детище. Участь же типичного «делового человека» не сулит ни минуты покоя. Она складывается из борений и разочарований, но в ней есть место инициативе, выдумке, а стало быть и тому, что зовется высоким словом «творчество».

Характер американца Кеннерли противоречив; не менее противоречива, в трактовке Портер, социально-политическая ситуация в Мексике. Необходимо иметь в виду, что после осуществления ряда позитивных мер наследники буржуазно-демократической революции, вдохновившей Джека Лондона на рассказ «Мексиканец», а Джона Рида на книгу репортажей «Восставшая Мексика», пошли на существенные уступки реакции. Проведение аграрной реформы замедлилось, в 1929 году репрессии обрушились на Мексиканскую компартию, а через год были порваны дипломатические отношения с СССР, которые Мексика установила раньше других латиноамериканских стран.

Перерождение революционных идеалов пронизательно запечатлено в новелле как в слегка водевильном образе хозяина гасиенды дона Хенаро, так и в возвышающейся за его спиной обобщенной фигуре «влиятельного и удачливого революционера», которому присвоено имя Веларде. Преследуя продажных чиновников старого режима, Веларде

сам становится жестоким эксплуататором, спекулянтом и взяточником. Его влияние ощутимо и в армии, и в президентском дворце. Неудивительно, что народные массы Мексики вновь поднимаются на партизанскую борьбу против социального гнета и засилия иностранного капитала.

С середины 30-х годов для творчества К. Э. Портер характерен переход к более объемной, чем прежде, форме «длинной новеллы», или повести. Произведения этого жанра составили сборник «Бледный конь, бледный всадник» (1939), пожалуй, наиболее ярко раскрывающий художественное дарование американской писательницы \*. Перемены в области формы сопровождались изменением идейно-тематической окраски ее «малой прозы», которая становилась все прочнее связанной с «южной традицией» в художественной прозе Соединенных Штатов.

Специфические черты этой эстетической общности отчетливо видны уже в повести «Полуденное вино», датированной 1937 годом. Не на последнем месте в их числе стоит тяга автора к живописанию привольной сельской жизни, свободного фермерского труда, регламентируемого лишь колебаниями экономической конъюнктуры. Процесс превращения запущенной фермы мистера Томпсона в образцовое хозяйство усилиями фактически всего лишь одного человека, эдакого работника Балды из восточного Техаса, обрисован у Портер в изобилии поучительных реалистических деталей. Творец этого чуда швед Олаф Хелтон привык работать с утра до вечера все дни недели, и он категорически отвергает такие, на его взгляд, пустопорожние, но обязательные для догматического склада ума занятия, как, например, хождение в церковь. Его молчаливому каждодневному влиянию многим обязаны молодые Томпсоны, и прежде всего тем, что они выросли пусть и не очень отесанными, но зато работающими и с золотым сердцем парнями.

Мотив сумасшествия, приписываемого Хелтону, тоже

\* Новелла, давшая сборнику название, печаталась в журнале «Иностранная литература» (1979, № 1).

показателен для писателей «южной школы», начиная с одного из ее основоположников, Эдгара По. Этот сюжетный поворот вносит в повествование необходимый динамизм, но его основной драматический узел завязывается все-таки вокруг фигуры старшего Томпсона, от которого, казалось бы, трудно было ожидать острых душевных терзаний. Подобно Раскольникову, Томпсон прав в малом, но не в великом. Инстинктивная солидарность хозяина со своим помощником стоила жизни другому человеку, и, несмотря на то что жертва принадлежала к, быть может, худшей людской породе согладатаев и сыщиков, моральный вердикт был вынесен, по справедливости, не в пользу мистера Томпсона.

Дальнейшим усилением «южного колорита» отмечена в значительной мере автобиографическая повесть Портер «Тщета земная» (1938). Память о тех поколениях, для которых, как утверждает молва, житейские соображения значили ничтожно мало, определяет звучание ее первой части. Воссозданная в ней атмосфера духовности, привычно окружающая американцев самого среднего достатка, сродни той, что была неперменным элементом для многих русских семейств в тургеневскую и чеховскую эпохи. Музыка в исполнении Падеревского и Рубинштейна, пьесы Шекспира и игра Сары Бернар повсюду пробуждали глубокий эмоциональный отклик, обучали умению видеть незримое, проникаться величием жизни и смерти.

В традициях века минувшего, которые не столько разумом, сколько сердцем постигают персонажи Портер, — верить в идеалы вопреки очевидности, грезить и в зрелые лета о возвышенной любви, бережно хранить воспоминания о «светлых временах» молодости, позволяющие ей длиться бесконечно. Убедительные доводы в пользу этого мироощущения восприимчивые души ищут и находят в семейном предании о тетушке Эми, которая «была красива, очень любима, несчастлива и умерла молодой».

Писательница отчетливо осознает, что условностям романтизированных построений трудно выстоять перед

твердой логикой социально-исторического анализа. И все же давняя легенда продолжает твориться на глазах взрослеющей Миранды, отвергая прозаические истолкования, на которые столь щедро «трезвая действительность». Злобные «разоблачения» подавшейся в суфражистки кузины Евы лишь придают вес давнишнему ехидному и, конечно же, в целом не всегда справедливому замечанию одного из ее родственников о том, что «когда женщинам больше нечем утешиться, они начинают добиваться права голоса». Входящей в широкий мир 18-летней героине «преданья старины глубокой» кажутся ненужным, обременительным грузом. Хотя, как и Еве, ей не чужды гражданские интересы, Миранда чисто инстинктивно страшится сковать себя рамками какой-либо узко взятой доктрины. В заключающем «Тщету земную» внутреннем монологе хорошо видно, как из хаоса мыслей, которые обуревают совсем еще юное создание, проступает твердое убеждение, предписывающее при всех обстоятельствах быть верной самой себе, не оставаться «нигде и ни с кем, кто помешает ей жить по-своему, по-новому, кто скажет ей «нет».

Характер Миранды, которой посвящен и ряд других произведений К. Э. Портер, вошедших в сборник «Падающая башня» (1944), оживает в последний раз в ее творчестве в новелле «Передышка», опубликованной одновременно с романом «Корабль дураков». Изначальная душевная чуткость помогает героине разобраться в том, что происходит в семье богатых техасских фермеров, оценить их безмерную энергию, но, кроме того, хотя и не сразу, осудить их полуживотную бесчувственность по отношению к тем, кто не в состоянии участвовать в битве жизни.

Мораль трудового процесса непреклонна, признает Портер; пока человек жив, он должен вносить свою лепту в усилия всех. Свою же миссию рассказчица, как и прежде, видит в том, чтобы силой искусства и личным примером пытаться «перекинуть мост» между человеческими существами, внушать им надежду, давать передышку в борьбе с суровыми реальностями современного мира.

*А. Мулярчик*

# Веревка

На третий день после того, как они переехали за город, он принес из деревни корзину продуктов и большой моток веревки. Она вышла ему навстречу, вытирая руки о зеленый фартук. Волосы у нее были взъерошены, обгоревший нос пламенел. Всего два дня прошло, сказал он, а у нее уже вид заправской сельской жительницы. Серая фланелевая рубашка на нем взмокла от пота, тяжелые ботинки были запорошены пылью. А у него вид такой, отпарировала она, будто он играет в пьесе из сельской жизни.

Кофе принес? Она весь день ждала, когда же наконец сможет выпить кофе. Заказывая в день приезда продукты, они совсем упустили кофе из виду.

Елки зеленые! — не принес. Господи, опять, значит, тащись в деревню. Нет, он пойдет, пусть даже он рухнет по дороге. Зато все остальное он вроде бы принес. Она укорила его: он потому забыл кофе, что сам его не пьет. Пей он кофе, он бы еще как про него вспомнил. Пусть представит, что у них кончились сигареты! И тут ее взгляд упал на веревку. Это еще зачем? Да он подумал: вдруг возникнет надобность в веревке — белье там вешать или еще что. Она, естественно, спросила, уж не думает ли он, что они собираются открыть прачечную? Он что, не заметил, что у них во дворе натянута веревка ненамного короче той, что он принес? Да ну, так-таки и не заметил? А ей та веревка портит весь вид.

Он думал, мало ли для чего в деревне может пригодиться веревка. Интересно бы узнать, для чего, например, осведомилась она. Он несколько минут ломал голову, но так ничего и не придумал. Там видно будет, верно? Когда живешь в деревне, приходится держать в доме всякую всячину про

запас. Да, да, он, конечно же, прав, сказала она, но ей казалось, что сейчас, когда у них каждый цент на счету, по меньшей мере странно покупать веревку. Только и всего. Вот что она хотела сказать. Просто она не поняла, во всяком случае поначалу, почему ему вдруг взбрело в голову купить веревку.

Ах ты господи, захотел купить и купил, только и всего. Причина как причина, не хуже другой, так и она считает, она только не понимает одного, почему он ей сразу так не сказал. О чем говорить, веревка, естественно, пригодится — еще бы, целых 25 метров веревки, им без нее просто не обойтись, сейчас ей, правда, не приходит в голову, куда бы они могли ее приспособить, но для чего-нибудь да пригодится. Как же иначе. Он верно сказал, в деревне все идет в ход.

Она просто немного огорчилась из-за кофе, и, нет, ты посмотри, посмотри только на яйца! Ой, ну хоть бы одно целое! Что он на них положил? Он что, не знал, что яйца ничего не стоит раздавить? Раздавить? Да кто, интересно знать, их давил? Скажет тоже! Просто нес их в корзине вместе с прочими покупками. А если они и побились, так это не он виноват, а продавец. Уж кому-кому, а продавцу должно быть известно, что на яйца нельзя класть ничего тяжелого.

Она уверена, что яйца побились из-за веревки. Тяжелее веревки в корзине ничего не было. Она видела, когда он вернулся, веревка лежала в корзине поверх покупок. Он призвал весь мир в свидетели, что это чистой воды выдумка. Он нес веревку в одной руке, а корзину в другой. У нее что, глаз нет?

Есть у нее глаза или нет, но она ясно видит, что на завтрак яиц не будет. Из них придется сегодня же вечером сделать яичницу. Экая досада! Она рассчитывала поджарить на ужин отбивную. К тому же у них нет льда, и мясо тронется. Интересно знать, спросил он, почему бы ей не вылить яйца в миску и не поставить на холод.

На холод! Пусть сначала покажет, где этот холод, и она охотно поставит туда яйца. Раз так, почему бы не сварить

яйца и мясо разом, а завтра поужинать разогретым мясом. У нее даже горло перехватило от негодования. Ужинать разогретым мясом, когда можно есть с пылу с жару! Вечно второй сорт, дешевка, суррогаты во всем — даже в еде! Он легонько потрепал ее по плечу. Разве это так уж важно, детка? В игривом настроении он порой трепал ее по плечу, а она изгибалась и мурлыкала. А тут она зашипела и едва не вцепилась в него. У него уже чуть было не сорвалось, что они как-нибудь перебьются, но она налетела на него: если у него повернется язык сказать, что они как-нибудь перебьются, заявила она, она влепит ему пощечину.

Он проглотил оскорбление, вспыхнул. Подхватил веревку, потянулся закинуть ее на верхнюю полку. Но не тут-то было — верхнюю полку она отвела под склянки и банки и не позволит захламлять ее всякими веревками. Хватит с нее того, что у них в городе сам черт ногу сломит — так там хоть повернуться негде, но здесь она наведет порядок.

В таком случае интересно знать, как на верхней полке очутились молоток и гвозди? И с какой стати она их туда сунула, она что, не знает, что он собирается приладить рамы наверху и молоток и гвозди ему нужны там? Из-за нее у них все движется черепашьими темпами, вечно она задает ему лишнюю работу из-за своей дурацкой привычки перекладывать все с места на место и запихивать невесть куда.

Она, насколько помнит, извинилась. Будь у нее хоть какая-то надежда, что он приладит рамы этим летом, она оставила бы молоток и гвозди там, где он их и положил, — прямо посреди спальни, на самом ходу. А теперь, если он сию же секунду не очистит полку, она вышвырнет этот хлам в колодец.

Хорошо, хорошо, а что, если он положит все в чулан? Ни в коем случае. Чулан у нее отведен под щетки, швабры и совки — у него что, нет другого места для веревки, кроме как ее кухня? Ему, видно, невдомек, что у них в доме целых семь комнат и всего одна кухня?

Интересно знать, что из этого следует? Она что, не понима-



ет, что ведет себя глупее глупого? Он что ей, трехлетний недоумок? Она, видно, жить не может без того, чтобы кого-то не дергать и не притеснять, иначе ее поведение не объяснишь. Вот когда он пожалел, что они не завели ребенка-двух — ей было бы на ком срывать зло. Может, тогда его оставили бы в покое.

При этих словах она переменялась в лице и напомнила ему, что он забыл про кофе и бог знает для чего купил моток веревки. А если вспомнить, сколько им всего еще нужно, чтобы можно было хоть мало-мальски прилично устроиться, ей просто плакать хочется, только и всего. У нее был такой потерянный, удрученный вид, что он никак не мог поверить, будто весь сыр-бор разгорелся из-за мотка веревки. Да в чем хоть дело-то, скажи на милость?

Ох, пусть он, пожалуйста, замолчит и будет так добр уйти куда подальше, чтобы ей не видеть его, ну хотя бы минут пять. Да ради бога. Раз так, она вообще его больше не увидит. Ей-ей, он только о том и мечтает, чтобы смыться и никогда больше сюда не возвращаться. Тогда она, хоть убей, не понимает, что его здесь держит. Когда и улизнуть, как не сейчас. Она торчит здесь, в глуши, до железной дороги отсюда вовек не доберешься, в доме хоть шаром покати, денег никаких, дел по горло — когда и смыться от всего этого куда подальше, как не сейчас. Она и так диву дается, почему он не проторчал в городе до тех пор, пока она всех дел не переделала. Ей не привыкать стать.

Ему кажется, что онахватила через край. Перешла всякие границы, да будет ему позволено так сказать. Чего ради он просидел безвылазно прошлое лето в городе? Потому что набрал дополнительной работы сверх головы, чтобы послать ей деньги. Почему же еще? Уж ей-то должно быть известно, что другого выхода у них не было. И тогда она против этого не возражала. Видит бог, это был единственный раз за всю их совместную жизнь, когда ей пришлось обходиться своими силами.

Расскажи это своей бабушке! У нее есть подозрения, по какой такой причине он застрял тогда в городе. И да будет

ему известно, подозрения вполне обоснованные. Опять она вытащила эту древнюю историю? Так вот, она может думать все, что ей угодно. Ему осточертело оправдываться. Как это ни глупо звучит, но его заарканили, а он попросту растерялся. Он и думать не мог, что она так раздует эту историю. Ну как же, ей ли не знать, что стоит оставить мужчину одного, как его, бедняжку, мигом зацапает какая-нибудь дамочка. А ему, конечно же, воспитание не позволило отказать даме.

Что она такое несет? Не она ли сказала ему, что такого хорошего времени, как эти две недели, у нее уже четыре года не было, похоже, она об этом забыла? А сколько, интересно, лет к тому времени они прожили вместе? Ладно, помолчи! И пусть не думает, что он это ей не запомнил. Да не потому ей было так хорошо, что она жила без него, она вовсе не то хотела сказать. А то, что ей было хорошо оттого, что она наводила в этом паршивом доме уют к его приезду. Вот что она хотела сказать, а он каков? Корит ее какой-то фразой годовалой давности, а все оттого, что забыл про кофе, перебил яйца и потратил деньги, с которыми у них и без того туго, на эту треклятую веревку! И потом, довольно об этом, а от него ей нужно всего-навсего, во-первых, пусть уберет веревку подальше, чтобы она не путалась под ногами, а во-вторых, пусть вернется в деревню за кофе и, если он способен хоть что-то удержать в голове, заодно прихватит проволочную мочалку для сковородок, и два карниза для занавесок, и еще резиновые перчатки, а то у нее вся кожа с рук сошла, и пойдет в аптеку за бутылкой женой магнезии.

Он кинул взгляд за окно, где над склонами плавился ярко-синий день, утер лоб, тяжело вздохнул и сказал, что он вернется в деревню, но пусть она хоть раз в жизни наберется терпения и подождет. Он сам предложил сходить в деревню, как только обнаружилось, что он забыл про кофе, разве нет?

Да, да, конечно... иди скорей. А она тем временем помоеет окна. Красота-то вокруг какая! Вот только будет ли у них

время ею любоваться! Он ушел бы и без ее напоминаний, но прежде ему хочется сказать, что если б не ее склонность видеть все в черном свете, она бы заметила, что дел в доме осталось на несколько дней — не больше. Неужели она не помнит, как славно им жилось здесь прежде? Уж будто они никогда не веселились? Ей недосуг с ним разговаривать, а теперь пусть приберет веревку, прежде чем она переломает себе ноги. Он поднял веревку — она каким-то образом съехала со стола — и, зажав под мышкой, вышел.

Он уже уходит? Ну конечно! Так она и думала. Какое безошибочное чутье — до чего же он точно выбирает момент, когда смыться, чтобы перекинуть все трудные дела на нее. Она хотела вынести матрасы — если их вынести сейчас, они пролежат на солнце по крайней мере три часа, она еще утром об этом говорила, разве он не слышал?

Неудивительно, что он спешит улизнуть и переложить все дела на нее. Не иначе как решил, что физическая работа пойдет ей на пользу.

Да он всего-навсего хотел принести ей кофе. Тащиться шесть километров за двумя фунтами кофе глупо, но он рад стараться. Кофе ее губит. Впрочем, раз ей на это наплевать, что тут подделаешь? Если он думает, что это кофе ее губит, она его поздравляет: у него, должно быть, совсем нет совести.

Есть у него там совесть или нет, он не понимает, почему нельзя вынести матрасы завтра? И в конце концов надо решить: для чего им этот дом, чтобы в нем жить, или чтобы он их заездил? При этих словах она помертвела, губы у нее побелели, и она напустилась на него: пусть, мол, не рассчитывает, что она будет везти воз в одиночку, у нее тоже есть работа, и когда, интересно, он думает, ей делать работу, если она с утра до вечера крутится по хозяйству?

Опять она за свое? Ей не хуже его известно, что его работа приносит деньги регулярно, а ее — лишь время от времени. И хороши бы они были, если бы им пришлось жить на ее заработки, и пусть зарубит это на стенке раз и навсегда!

Не в этом суть, а в том, как они распределяют обязанности, когда оба работают. Вот что интересно знать — надо же ей как-то спланировать свое время. О чем речь, они ведь, кажется, обо всем договорились. Условились, что он будет ей помогать. Летом он ей всегда помогал, разве нет?

Разве нет — ах, вот как! Разве нет — ах, вот оно что? Интересно, когда, где и чем он ей помог? Господи, вот уморил так уморил.

Он так ее уморил, что лицо ее налилось кровью, она давилась визгливым смехом, не в силах остановиться. Ее до того разобрало, что ей пришлось сесть — ноги ее не держали, из глаз ее хлынули слезы и потекли прямо в открытый от смеха рот. Он рванулся к ней, поднял на ноги, кинулся за водой — плеснуть ей в лицо. Оборвал веревку, которой ковшик был привязан к гвоздю. Одной рукой он пытался качать воду, другой удерживать ее. Поэтому облить ее он не облил, а только хорошенько потряс.

Она вырвалась от него и с истошным криком, мол, пусть прихватит свою веревку и убегает куда подальше, глаза бы ее на него не глядели, убежала. Он услышал, как спотыкаются, стучат по лестнице каблучки ее домашних туфель.

Выскочил на крыльцо, обогнул дом и вышел на проселок; тут он почувствовал, что на пятке у него вздулся волдырь, а спину жжет так, будто рубашка занялась огнем. Скандал разразился до того неожиданно, что он и опомниться не успел. Она могла дойти до белого каления по любой ерунде. Она чудовище, пропади все пропадом: ни одной извилины в голове. Когда она разойдется, ей что ни говори, все как об стенку горох. Но если она думает, что он положит жизнь на ее капризы, она сильно ошибается! Хорошо, а теперь-то что ему делать? Надо бы отнести веревку и на что-нибудь обменять. Постепенно обрастаешь вещами, грудями вещей, их не стронешь с места, в них не разберешься, от них не избавишься. Валяются себе и гниют. Надо бы отнести веревку назад. Вот еще, с какой это стати? Веревка ему нужна. Да и о чем, собственно, речь? Всего-навсего о веревке. Что это за человек, которому ничего не стоит так

оскорбить из-за какой-то веревки? Да и как вообще она смела его попрекать? В памяти всплыли все бессмысленные, никчемные безделки, которые она покупала себе. Зачем? Захотела купить и купила — вот зачем! Он остановился у обочины, присмотрел камень побольше. Надо пока спрятать веревку за него. А дома сунуть в рабочий ящик. Он сыт по горло разговорами о веревке.

Когда он вернулся, она стояла на дороге, прислонясь к почтовой тумбе, — поджидала его. День клонился к вечеру, запах жареного мяса, щекоча ноздри, разносился в прохладном воздухе. Лицо у нее разгладилось, посвежело, помолодело. Непокорные черные пряди смешно торчали во все стороны. Она помахала ему издали, и он прибавил шагу. Крикнула, что ужин давно готов, он, небось, умирает с голоду?

Еще бы! Вот он, кофе. Он помахал пакетом в воздухе. Она перевела глаза. Что это у него там такое в другой руке?

Ну да, та же самая веревка. Он остановился как вкопанный. Он собирался обменять веревку да запамятовал. Она не понимала, зачем менять веревку, если она ему действительно нужна. Как сегодня все благоухает и как же славно, что они здесь!

Она зашагала рядом с ним, одну руку подсунула ему под ремень. На ходу она дергала его за ремень, толкала, льнула к нему грудью. Он обвил ее рукой, похлопал по животу. Они обменялись настороженными улыбками. А вот и кофе, кофе для его зверушки-вреднюшки! Он чувствовал себя так, будто несет ей роскошный подарок.

Он у нее прелесть, ей с ним повезло, и выпей она поутру кофе, она никогда бы не стала так капризничать... А к ним снова прилетел козодой, нет, ты подумай, ему давно бы пора улететь, а он сидит один-одинешенек на дикой яблоне и кого-то кличет. Может быть, его подружка ему изменила. Очень даже может быть. Она надеется, он снова прилетит, этот козодой такая прелесть... Он ведь знает, на нее порой находит.

Еще бы, ему ли не знать.

# Гасиенда

Уже ради одного того, чтобы посмотреть, как Кеннерли оккупирует поезд, битком набитый темнокожим народцем, стоило заплатить за билет. Мы с Андреевым бездумно плелись вслед за этим колоссальным тараном (вполне обычного роста — Кеннерли был разве что на голову выше среднего индейца, зато его духовное превосходство в эту минуту не поддавалось учету), прокладывая себе дорогу сквозь вагон второго класса, куда мы впопыхах влезли по ошибке. Теперь, когда истинно народная революция (да будет благословенна ее память!) пробушевала и отгремела, в Мексике переименовывали все и вся — по большей части, чтобы создать видимость улучшения всеобщего благосостояния. И как бы вы ни были бедны, непритязательны или скаредны, вам не ехать в третьем классе. Вы вольны ехать в веселом, хоть и безалаберном, обществе во втором или степенно, с удобствами — в первом, ну, а если раскошелитесь, можете не хуже какого-нибудь состоятельного генерала с Севера раскинуться на царственном бархате пульмана. «Красота-то какая — ни дать ни взять пульман», — так обычно выражает свой восторг мексиканец побогаче... В этом поезде пульмана не было, иначе нам бы его не миновать. Кеннерли путешествовал с размахом. Свободной рукой разрезая толпу, другой — рывками подтаскивая дорожную сумку и портфель разом, он напористо пробивался вперед с брезгливой миной на лице, дабы ни от кого не укрылось, как оскорбляет его вонь, «такая густая, — по выражению Кеннерли, — что хоть ложкой ее хлебай», которой несло от кавардака, где смешались обмочившиеся

младенцы, загаженные индюшки, отчаянно визжащие поросята, кошелки с провизией, корзинки с овощами, тюки, узлы с домашним скарбом; однако, несмотря на всю неразбериху, каждая кучка жила своей отдельной жизнью, лишь изредка из самой ее гущи со смуглых радостных лиц скользили по проходящим глаза. Радость их никакого отношения к нам не имела. Они радовались тому, что могут сидеть-посиживать, и даже ослика не надо нахлестывать, их и так привезут куда надо, они за час проедут столько, сколько раньше едва успевали пройти за день, да еще поклажу приходилось тащить на себе... Пожалуй, ничем не нарушить их тихого восторга, когда они наконец рассядутся среди своих пожитков и паровоз, этот загадочный, могучий зверюга, легко помчит их километр за километром, а ведь прежде им с таким трудом давался здесь каждый шаг. Шумливый белый человек их не пугает: они уже успели привыкнуть к нему. Для индейцев все белые на одно лицо, им не впервой встречать этого расходившегося мужчину, светлоглазого, рыжеволосого, бесцеремонно проталкивающегося сквозь вагон. В каждом поезде имеется один такой. Если им удастся оторваться от своих всегда таких захватывающих дел, они провожают его глазами; без него им поездка не в поездку.

В дверях вагона Кеннерли обернулся и, увидев, что мы намереваемся здесь обосноваться, предостерегающе замахал руками. — Нет, нет! — возопил он. — Только не здесь. Вам не подобает быть здесь! — закричал он, делая страшные глаза, — он почитал своим долгом опекать даму. Я следовала за ним, кивками, жестами давая понять, что он зря беспокоится. За мной шел Андреев — он бережно огибал громоздкие вещи и мелкую живность, мимоходом переглядывался, со спокойными, живыми черными глазами — ни одних не пропустил.

Вагон первого класса был аккуратно подметен, местных жителей здесь практически не было, чуть не все окна были раскрыты. Кеннерли забросил сумки на полки, одним махом откинул спинки сидений и суматошливо расстилал и пере-

стилал пальто и шарфы до тех пор, пока не соорудил гнездышко, где мы могли свернуться друг против друга калачиком, — тем самым хоть на время оградив трех представителей интеллектуальной элиты высшей расы, оказавшихся — вот ужас-то! — без присмотра и практически без защиты, и где, в какой стране! У Кеннерли перехватило горло, едва он завел об этом речь. Строго говоря, гнездо он свил для себя; он знал, что собой знаменует. Нас с Андреевым он приравнивал к себе из вежливости: как-никак Андреев был коммунистом, а я писательницей, во всяком случае, так Кеннерли сказали. Еще неделю назад он обо мне ничего не слышал; не слышал обо мне и никто из его знакомых, и, строго говоря, присматривать за мной надлежало Андрееву — он или не он пригласил меня в эту поездку? Однако Андреев принимал все как должное, был легковверен, не задавал вопросов и не чувствовал никакой ответственности перед обществом — во всяком случае, Кеннерли никогда не назвал бы его ответственным человеком и поэтому никак не мог на него рассчитывать.

Я проштрафилась уже тем, что явилась на вокзал первая и сама купила себе билет, хотя Кеннерли велел мне ждать их у касс первого класса — они ехали из другого города и здесь им предстояла пересадка. — Предполагалось, что вы будете нашей гостьей, — обиженно сказал он и, взяв у меня билет, передал проводнику с таким видом, будто я выкрала билет из его кармана для своих личных надобностей, — жест этот, похоже, имел целью продемонстрировать, что отныне и вовеки он лишает меня всех причитающихся гостье привилегий. Андреев тоже выговорил мне: — К чему вам, да и нам, швыряться деньгами, когда Кеннерли денег некуда девать и он тратит их без счету? — Кеннерли застыл, так и не донеся до кармана кожаный бумажник, с минуту буравил Андреева невидящим взглядом, потом подскочил, будто его ужалили, и завопил:

— Богатый? Это я богатый? Это почему же, интересно знать, я богатый? — с минуту побушевал, надеясь, что подобающая отповедь родится сама собой, но она не



родилась. Еще с минуту он дулся, потом вскочил, передвинул сумки, сел, похлопал себя по карманам, проверяя, все ли на месте, откинулся на спинку кресла и справился, удосужилась ли я заметить, что он нес свой багаж сам. А поступил он так потому, что не может позволить носильщикам обжуливать себя. Всякий раз, когда он нанимает носильщиков, ему приходится сражаться с ними чуть ли не врукопашную, иначе бы его ободрали как липку. Не преувеличивая, за всю жизнь он не сталкивался с такой шайкой грабителей, как эти вокзальные носильщики. И потом, после их грязных лапищ противно братья за чемодан, того и гляди подхватишь какую-нибудь заразу. Он лично считает, что так и заболеть недолго.

А я в это время думала, что если рассказы путешественников, о какой бы стране они ни вели речь, уподобить грампластинкам, наберется всего три-четыре варианта, не больше, и из этих вариантов вариант Кеннерли казался мне самым малопривлекательным. Открытый взгляд ясных серых глаз Андреева, в которых отражалась такая сложная гамма неприязненных чувств, почти никогда не обращался на Кеннерли, но весь вид Андреева свидетельствовал о том, что терпение его на пределе. Усевшись поудобнее, он вытащил папку фотографий, кадры из фильма, которые они наснимали по стране, расположил их на коленях и начал рассказ о России с того самого места, где прервал его... Кеннерли забился в угол подальше от нас и отвернулся к окну, всем своим видом показывая, что не желает слушать чужой разговор. Когда мы выехали из Мехико, солнце сияло всюду; километр за километром преодолевая долину пирамид, мы ползли среди полей агав навстречу лиловой грозовой туче, прочно разлегшейся на востоке, пока она не разверзлась и не окропила нас приветливо тусклым неслышным дождичком. Всякий раз, когда поезд останавливался, мы высывались из окна, поселяя напрасные надежды в сердцах индейцев, которые бежали рядом с нами, запрокинув головы и простирая к нам руки и тогда, когда поезд уже набирал скорость.

— Свежее пультке! — угрюмо зывали они и тянули к нам кувшины, доверху наполненные сероватой жижей.

— Черви! Свежие черви, только-только с агавы! — истошно вопили они, перекрывая лязг колес, и размахивали, словно букетами, сплетенными из листьев мешками, которые бугрились от скользящих червей, собранных по одному на кактусах, из чьей сердцевины сочится сахаристый сок для пультке. Не оставляя надежды, они все бежали, легонько, лишь самыми кончиками пальцев придерживая мешки, с тем чтобы тут же перебросить их пассажирам, буде те в последний момент не устоят перед соблазном, бежали до тех пор, пока паровоз не оставлял их далеко позади, — голоса их относило, и вот уже вдали виднелись лишь тесно сбившиеся линиялые юбки и шали под равнодушно сеющим дождем.

Кеннерли открыл три бутылки тепловатого горького пива. — Вода здесь гнусная, — убежденно сказал он, отхлебнул большой глоток пива и прополоскал рот. — Все, что они едят и пьют, нельзя взять в рот, вы согласны? — спросил он так, словно, что бы мы по своему неразумию ему ни ответили (ни один из нас не пользовался у него доверием), это никакого значения не имеет, ибо правильный ответ известен лишь ему одному. Передернулся и чуть не подавился американским шоколадом. — Я только что вернулся, — сказал он, как бы объясняя, чем вызвана его повышенная брезгливость, — из райских краев, — так он называл Калифорнию. И вспорол апельсин с лиловой чернильной меткой. — Поэтому мне приходится приспособливаться заново. До чего же хорошо, когда ешь фрукты, зная, что в них нет микробов. Эти апельсины я везу из самой Калифорнии. (Я явственно представила, как Кеннерли шагает через всю Сонору с набитым апельсинами рюкзаком за плечами.) Угощайтесь. Они, по крайней мере, чистые.

Сам Кеннерли тоже был чище чистого — ходячая укоризна неопрятности: отмытый, побритый, подстриженный, наглаженный, начищенный, благоухающий мылом; фисташкового цвета твидовый костюм ловко облегал его крепкую фигуру. Что ни говори, а сложен он был отлично, с тем

экономным изяществом, которое встречаешь разве что у пышущих здоровьем животных. Этого у него не отнимешь. Когда-нибудь я сложу стихи в честь котят, умывающихся поутру, в честь индейцев, отскребывающих в тени деревьев в полдень у реки одежду до дыр, а кожу до скрипа большими кусками пахучего мыла и пеньковыми мочалками; в честь лошадей, катающихся, валяющихся по траве, с фырканием надраивающих свои лоснящиеся бока; в честь сорванцов, шумно плещущихся нагишом в пруду; в честь кур, с ликующим квохтаньем полощущихся в пыли; в честь почтенных отцов семейств, забывающихся песней под тощей струйкой умывальника; в честь птичек на ветках, упоенно перебирающих одно за другим встопорщенные перышки; в честь прелестных, как свежие плоды, юношей и девушек, прихорашивающихся перед свиданием; в честь всех живущих и здравствующих, всех тех, кто наводит чистоту и красоту во имя вящей славы жизни. Но Кеннерли где-то сбился с пути — переусердствовал: вид у него был затравленный, как у человека на пороге банкротства, который, не рискуя урезать расходы, из последних сил пускает пыль в глаза. Он был сплошной комок нервов, стоило какой-нибудь мысли смутить его, и нервы иголками вонзались ему в нутро — оттого в его пустых голубых глазах застыло выражение слепого бешенства. От бессильной ярости у него вечно ходили желваки. Восемь месяцев, как он состоит деловым руководителем при трех русских киношниках, снимающих фильм о Мексике, и эти восемь месяцев едва не доконали его, рассказывал мне Кеннерли, ничуть не смущаясь присутствием Андреева, одного из троицы.

— Доведись ему руководить нашей поездкой по Китаю и Монголии, — сказал мне Андреев, нимало не стесняясь Кеннерли, — Мексика показалась бы ему раем.

— Не выношу высоты! — сказал Кеннерли. — У меня от нее перебои в сердце. Я перестаю спать.

— При чем тут высота? Какая такая высота в Техуантепек? — продолжал резвиться Андреев. — А посмотрели бы вы, что с ним там творилось.

Жалобы хлестали из Кеннерли сплошным потоком, он не мог остановиться, как ребенок, когда его тошнит.

— А всё эти мексиканцы, — рассказывал он так, будто натолкнуться на них в Мексике было для него непредвиденной неприятностью. — От них сам не заметишь, как сойдешь с ума. В Техуантепеке это был какой-то ужас. Все рассказать — недели не хватит, потом, он делает заметки, думает когда-нибудь написать книгу, но все-таки один пример приведу: мексиканцы не знают цену времени и на их слово никак нельзя полагаться. Они вынуждены были давать взятки на каждом шагу. Подкупы, взятки, подкупы, взятки — с утра до вечера, в любом виде: от 50 песо муниципалитетским нахалюгам до кулька конфет какому-нибудь провинциальному мэру, а иначе тебе даже камеру не дадут поставить. Москиты чуть не съели его живьем. А если к этому прибавить еще клопов, тараканов, и скверную еду, и жару, и здешнюю воду, неудивительно, что все переболели: Степанов, оператор, заболел, Андреев заболел.

— Уж так и заболел, — сказал Андреев.

Даже бессмертный Успенский и тот заболел. Что же до самого Кеннерли, так он и вообще не раз прощался с жизнью. Амебиаз. Его никто не разубедит. Да что говорить, диву даешься, как они все там не перемерли и как их не перерезали. Да что говорить, Мексика еще хуже Африки.

— А вы и в Африке побывали? — спросил Андреев. — И почему вы всегда выбираете такие неудобные для жизни страны?

По правде говоря, в Африке он не был, но одни его друзья снимали фильм о пигмеях, и если рассказать, чего они там натерпелись, вы просто не поверите. Что же до него, Кеннерли, посылай его хоть к пигмеям, хоть к каннибалам, хоть к охотникам за головами — он всегда пожалуйста. С ними, по крайней мере, все известно наперед. А здесь что: к примеру, они потеряли ни много ни мало десять тысяч долларов только потому, что, повинувшись здешним законам — чего тут сроду никто не делал! — представили свой фильм о землетрясении в Оахаке цензорскому совету в Мехико. А какие-то

местные ловчи́лы, которые знают все ходы-выходы, воспользовавшись этим, отослали свою полнометражную хронику прямиком в Нью-Йорк — и обскакали их. Иметь совесть всегда накладно, но если уж ты родился на свет совестливым, ничего не попишешь. А в итоге — выброшенное время и выброшенные деньги. Он заявил протест цензорам, обвинив их в том, что они не пресекли разбойные действия мексиканской компании и, играя на руку своим любимчикам, злонамеренно задержали русский фильм, — выложил все как есть, отстукал целых пять страниц на машинке. Они даже не потрудились ему ответить. Ну что ты будешь делать с таким народом? Взятка, подкуп, взятка, подкуп — без этого тут шагу не ступишь. Но здешние уроки не прошли для него даром.

— Теперь какую сумму у меня ни запросят, я плачу ровно половину, и точка, — сказал он. — Я им говорю: послушай, я тебе даю половину, дай я больше — это уже пахло бы вымогательством и взяточничеством, понял? Думаете, они отказываются? Еще чего! Как бы не так!

Его трубный, резкий голос нещадно терзал уши, выпученные глаза с отвращением взирали на все, на чем ни останавливались. Нервы иголками вонзались, впивались ему в нутро — обращался ли он мыслью вспять, касался ли настоящего, ощущал ли холодное веяние будущего. Его несло... Он побаивался своего зятя, рьяного приверженца сухого закона, гнев которого, узнай он, что едва Кеннерли покинул Калифорнию, как снова взялся за старое и хлещет пиво в открытую, был бы ужасен. В известном смысле он рисковал работой — ведь чуть не все деньги на эту поездку зять собрал среди своих друзей, и теперь зять мог его уволить без лишних разговоров, хотя как зять надеется обойтись без него, Кеннерли себе не представляет. У зятя нет лучшего друга, чем он. Да разве зятю это понять! И потом, вклады должны приносить прибыль — и друзья вскоре ее потребуют, если еще не потребовали. А кроме него, никого это не заботит — и он метнул взгляд на Андреева.

— А я вовсе не просил их вкладывать деньги!

По мнению Кеннерли, кроме пива, тут ничего в рот брать нельзя, а пиво, оно тебя разом и накормит, и напоит, и вылетит: ведь тут все — фрукты, мясо, воздух, вода, хлеб, все — отравы. Фильм предполагалось снять в три месяца, но прошло уже восемь, и одному богу известно, сколько времени он еще займет. А если не закончить картину к сроку, Кеннерли боится, что ее ждет полный провал.

— К какому сроку? — спросил Андреев так, словно задает этот вопрос далеко не в первый раз. — Когда закончим, тогда и закончим.

— Так-то оно так, только вы напрасно думаете, будто картину можно кончить когда тебе заблагорассудится. Публику надо подготовить точь-в-точь к моменту ее выхода. Чтобы картина имела успех, — разглагольствовал Кеннерли, — чего только не приходится учитывать: картина должна быть сделана к определенному сроку, должна быть произведением искусства — это само собой разумеется — и должна шуметь. А вот шумит она или нет, наполовину зависит от того, сумеете ли вы, когда подвернется подходящий момент, выпустить ее на экран. Необходимо учитывать уйму мелочей, упустишь хоть одну — и ваших нет! — Он сделал вид, будто наводит ружье, спустил курок и в изнеможении отвалился на спинку кресла. На его лице — он на миг расслабился, — как на киноэкране, отразилась вся его жизнь, жизнь, состоящая из борений и разочарований, жизнь, где он вечно превозмогал невероятные трудности, изо всех сил бодрился, а по ночам, когда голову распирали планы, а живот пиво, лежал без сна, а по утрам вскакивал отупевший, с мятым, серым лицом, лез под холодный душ, взбадривал себя обжигающим кофе и бросался в бой, где нет ни правил, ни судей и повсюду враги! — Господи, да вы и понятия ни о чем таком не имеете, — обратился он к мне. — Но все это войдет в мою книгу...

Прямой как палка, он сидел, повествуя о своей книге, поедая плитку за плиткой американский шоколад и дохлебывая третью бутылку пива, когда посреди фразы его сморил сон. И самонадеянность не помогла, спасительный

сон, схватив за шкуру, заткнул ему рот. Он утонул в своем твиде, голова его ушла в воротник, глаза закрылись, углы губ опустились — казалось, он вот-вот заплачет.

А Андреев все показывал мне кадры из той части фильма, которую они снимали на гасиенде, где делают пульке... Гасиенду они выбирали очень придирчиво, рассказывал он, разыскали доподлинную помещичью усадьбу, такую, которая подходит им по всем статьям — и архитектура там что надо, и современных удобств практически никаких, и пеоны такие, каких нигде больше нет. Вполне естественно, что все это отыскалось в гасиенде, где производят пульке. Ведь пульке как делали испокон веку, так делают и поныне. С тех пор как первый индеец соорудил первый обтянутый сыромятной кожей бродильный чан для пульке и выдолбил первую тыкву, чтобы высосать сок из сердцевины агавы, ничего не изменилось. Ничего не изменилось с тех пор, да и что могло измениться? Лучшего способа готовить пульке явно нет и не будет. Им до того повезло с этой усадьбой, что они сами не верят своему счастью. Как-то гасиенду посетил один родовитый испанец — последний раз он был здесь полвека тому назад, — так вот он все ходил по усадьбе и восторгался.

— Здесь ничего не изменилось, — приговаривал он, — ну совсем ничего!

Камере этот неизменный мир виделся пейзажем с фигурами людей — людей, чью обреченность предопределял уже сам пейзаж. Замкнутые смуглые лица несли на себе печать безотчетного страдания, но чем оно вызвано, они не помнили или помнили так, как помнят разве что животные, которые страдают, когда их хлещут кнутом, но за что страдают, не понимают, и как избавиться от страданий, тоже не представляют... Смерть на этих кадрах представляла крестным ходом с зажженными свечами, любовь чем-то расплывчато торжественным — сомкнутые руки и две фигуры-изваяния, клонящиеся друг к другу. Даже фигуре индейца в дражном белом балахоне, потрепанном непогодами и принявшем очертания его узкобедрого стройного т е л а , —

склонившись к агаве так, что ее колючки рогами торчали у него по бокам, он высасывал через тыкву ее сок, а ослик рядом с ним, понурившись, покорно ожидал, когда наполнят навьюченные на него бочки, — даже фигуре индейца был придан условный, традиционный трагизм, прекрасный и пустой. На этих кадрах, как ожившие статуи, шли ряд за рядом темнокожие девушки, с их круглых лбов струились мантильи, на их плечах высились кувшины; женщины, стоя на коленях, стирали у источника белье, блузы спускались с их плеч, «тут все до того живописно, — сказал Андреев, — что наверняка пойдут разговоры, будто мы нарядили их специально для съемок». Камера уловила и запечатлела вспышки жестокости и бессмысленного буйства, тяжкую жизнь и мучительную смерть, и разлитое в воздухе Мексики чуть ли не экстатическое ожидание гибели. То ли мексиканец умеет отличить настоящую опасность, то ли ему все равно, подлинная или мнимая угроза нависает над ним, зато чужестранцев вне зависимости от того, угрожает им опасность или нет, здесь гложет смертельный страх. У Кеннерли он претворился в ужас перед пищей, водой и самим воздухом. У индейца культ смерти вошел в привычку, стал потребностью души. Он разутюжил, разгладил их лица, придав им вид до того невозмутимый, что начинаешь сомневаться, не притворный ли он, но если он и притворный, то притворяются они уже так давно, что теперь эта маска держится сама собой, она, можно сказать, приросла к их лицам, и во всех здесь живет память о нанесенном им поражении. В горделивости их осанки сказывается глубоко затаенное непокорство, а в дерзко задранных головах — издевка рабов, потому что кто, как не рабы, живут в этом обличье?

Мы просмотрели множество сцен из жизни господского дома, где действовали персонажи, одетые по моде 1898 года. Они были само совершенство. Но одна девушка выделялась и среди них. Типичная мексиканская красавица смешанных кровей, со злым ртом сердечком и злыми убегающими к вискам глазами; ее неподвижное, как маска, лицо было



добела запудрено, черные уложенные волнами волосы гладко зачесаны назад, открывая низкий лоб; свои рукава бочонком и твердую шляпу с полями она носила с неподражаемым шиком.

— Ну, эта уж наверняка актриса, — сказала я.

— Верно, одна-единственная среди них, — сказал Андре в. — Это Лолита. Мы отыскали ее в Великолепном театре.

История Лолиты и доньи Хулии была преуморительная. Начало ей положила как нельзя более банальная история Лолиты и дон Хенаро, хозяина гасиенды. Донья Хулия, жена дон Хенаро, не могла простить ему, что он поселил в доме свою содержанку. Она женщина куда как современная, говорила донья Хулия, уж кого-кого, а ее не назовешь отсталой, но ронять себя она не позволит. Дон Хенаро, напротив, был как нельзя более отсталым в своих вкусах — он питал слабость к актрисам. Дон Хенаро считал, что ведет себя крайне осторожно, когда же его проделки открылись, он не знал, как загладить свою вину. Но крохотная донья Хулия была неслыханно ревнива. Поначалу она визжала, рыдала и закатывала сцены по ночам. Потом стала кокетничать с другими мужчинами в расчете вызвать ревность дон Хенаро. И до того запугала мужчин, что, завидя ее, они чуть не пускались в бегство. Представьте себе, к чему это могло привести! О картине ведь тоже нельзя забывать, в конце-то концов... Потом донья Хулия пригрозила убить Лолиту — перерезать ей горло, заколоть, отравить... Тогда дон Хенаро попросту удрал, оставив все в подвешенном состоянии. Он уехал в столицу и отсиживался там два дня.

Когда он вернулся, он первым делом увидел своих жену и любовницу — они разгуливали по верхней, вырубленной в горе, площадке сада обнявшись, съемки меж тем были приостановлены: Лолита не желала расстаться с доньей Хулией и идти работать.

Дон Хенаро, хотя скорость была его коньком, при виде такой скоропалительной перемены попросту оторопел. Он сносил скандалы, которые закатывала ему жена, считая,

что права и привилегии жены священны. Первое же право жены — ревновать мужа к любовнице и угрожать убить ее. Свои прерогативы имелись и у Лолиты. До его отъезда все разыгрывалось как по нотам. То, что происходило сейчас, было ни на что не похоже. Разлучить жену и любовницу он не мог. Все утро они: китаянка в киношном исполнении (донье Хулии приглянулся китайский костюм работы одного голливудского художника) и чопорно элегантная дама, одетая по моде 1898 года, — разгуливали под деревьями и щебетали, нежно сплетя руки и сблизив головки. Они не внимали призывам ошестинившихся мужчин: Успенский требовал, чтобы Лолита немедленно шла сниматься, дон Хенаро передавал через мальчишку-индейца, что хозяин вернулся и хочет видеть донью Хулию по делу чрезвычайной важности.

Женщины по-прежнему расхаживали по площадке или посиживали у источника, перешептывались и, нимало не стесняясь, нежничали у всех на виду. Когда Лолита наконец спустилась вниз и заняла свое место на съемочной площадке, донья Хулия расположилась неподалеку и, хотя солнце било ей в глаза, наводила перед зеркальцем красоту, сияя улыбкой Лолите, стоило их взглядам пересечься, чем очень мешала съемкам. Когда ее попросили отсесть, чтобы не попасть в кадр, она разобиделась, отодвинулась на метр, не больше, и сказала:

— Пусть меня тоже снимут в этом эпизоде вместе с Лолитой.

В низком грудном голосе Лолиты, когда она говорила с доньей Хулией, звучали воркующие нотки. Она томно бросала на донью Хулию загадочные взгляды, а садясь на лошадь, до того забылась, что перекинула ногу через седло, чего ни одна дама в 1898 году никогда себе не позволила бы... Донья Хулия ластилась к дону Хенаро, а он, не зная, как подобает вести себя мужу в таких обстоятельствах, сделал вид, будто приревновал жену к Бетанкуру, одному из мексиканских консультантов Успенского, и закатил ей неслыханный скандал.

Мы снова перебирали кадры, некоторые посмотрели по два раза. На полях, среди агав, индеец в своих немислимых отрепьях; в господском доме по-театральному пышно разодетые люди, за ними, на стене, смутно виднеется большая хромолитография Порфирио Диаса \* в безвкусной раме.

— Портрет должен показать, что на самом деле это происходило во времена Диаса, — сказал Андреев, — а вот это, — и он постучал по кадрам, изображавшим индейцев, — сметено революцией. Такие условия нам поставили, — и хоть бы улыбка, хоть бы взгляд в мою сторону, — но не смотря ни на что, мы снимаем уже третью часть нашей картины.

Интересно, как им это удалось, подумала я.

В Калифорнии они числились политически неблагонадежными, и подозрение это перекочевало за ними и сюда. Нелепые слухи опережали их. Говорили, что они снимают фильм по приглашению правительства. Говорили, что они снимают фильм отнюдь не по приглашению правительства, а, напротив, по заказу коммунистов и тому подобных сомнительных организаций. Мексиканское правительство платит им большие деньги; Москва платит мексиканскому правительству за право снимать фильм; у Москвы еще не было такого опасного агента, как Успенский; Москва вот-вот отречется от Успенского; Успенскому вряд ли разрешат вернуться в Россию. На поверку он вовсе не коммунист, а немецкий шпион. Американские коммунисты оплачивают фильм, мексиканская антиправительственная партия втайне симпатизирует России и втихомолку отвалила русским огромный куш за картину с целью скомпрометировать правительство. У правительственных чиновников, как видно, голова пошла кругом. Они соглашались со всеми сразу. Делегация чиновников встретила русских прямо у трапа парохода и препроводила их в тюрьму. В тюрьме было душно и противно. Успенский, Андреев и Степанов бес-

\* Диас Порфирио (1830—1915) — президент Мексики. В 1884 г. установил диктаторский режим, был свергнут в ходе мексиканской революции 1910—1917 гг. (Здесь и далее примечания переводчиков).

покоились, не пострадает ли их аппаратура — ее подвергли строжайшему таможенному досмотру. Кеннерли беспокоился, не пострадает ли его репутация. Ему было слишком хорошо известно, какими безупречно чистыми методами обдeldывает свои делишки взысканный богом Голливуд, и он трепетал при мысли, чем это может для него обернуться. Насколько он мог судить, до отъезда из Калифорнии все переговоры велись через него. Сейчас он уже ни в чем не был уверен. Слух, что Успенский не член партии, а один из троих и вовсе не русский, распустил сам Кеннерли. Он надеялся, что это как-то их реабилитирует в общем мнении. После безумной ночи в тюрьму явилась другая группа чиновников, более представительная, чем первая, и, расплываясь в улыбках и рассыпаясь в извинениях, вернула им свободу. И тут кто-то пустил слух, что русских посадили в тюрьму с чисто рекламными целями.

Тем не менее правительственные чиновники решили не рисковать. Не упускать же случай снять фильм о славной истории Мексики, ее унижениях, страданиях и венчающем их торжестве, которое стало возможным лишь благодаря победе последней революции, и русских совершенно изолировали, окружив целым штатом профессиональных пропагандистов, предоставленных в их распоряжение на время визита. Десятки услужливых наблюдателей — искусствоведов, фотографов, одаренных литераторов и туристских гидов — роем роились вокруг, дабы направить их куда надо, показать им все что ни на есть самое прекрасное, значительное, характерное в жизни и душе народа; если же камере все-таки встречалось нечто далеко не прекрасное, на этот случай имелся весьма сведущий и зоркий цензорский совет, чьим долгом было следить за тем, чтобы эти скандальные сведения не проникли за пределы монтажной.

— Я не рассчитывал встретить здесь такую преданность искусству, — сказал Андреев.

Кеннерли вздрогнул, что-то пробормотал, открыл глаза и снова закрыл их. Голова его резко мотнулась.

— Осторожно. Он проснется, — шепнула я.

Притихнув, мы вглядывались в Кеннерли.

— Вряд ли, — сказал Андреев. — Все до крайности сложно и, чем дальше, тем больше запутывается.

Мы немного посидели молча, Андреев все так же изучающе вглядывался в Кеннерли.

— В зоопарке он был бы довольно мил, — сказал Андреев беззлобно. — Но возить его без клетки — сущее наказание. — И, помолчав, продолжал свой рассказ о России.

На последней перед гасиендой остановке в поездсел молодой индеец, исполнявший в фильме главную роль: он разыскивал нас. Он влетел в вагон, как на сцену, следом за ним ввалилась целая свита поклонников, оборванных заморышей, счастливых возможностью погреться в лучах его славы. Если бы он только снимался в кино, их обожание было бы ему уже обеспечено, но его и без того почитали в деревне — он был боксер, и притом хороший боксер. Бой быков несколько устарел, последним криком моды был бокс, и по-настоящему честолюбивый молодой человек спортивного склада, если господь не обделил его силой, шел не в тореадоры, а в боксеры. Двоякая слава придавала парнишке замечательный апломб, и он, насупившись, уверенно подошел к нам как бывалый путешественник, которому не впервой разыскивать друзей по поездкам.

Однако долго хранить серьезность ему не удалось. Его лицо, от высоких скул до квадратного подбородка, от крупных вывернутых губ до низкого лба, на котором застыло выражение нарочитой свирепости, какую нередко видишь у профессиональных боксеров, расплылось в обаятельной улыбке, выдававшей простодушное волнение. Он радовался, что снова видит Андреева, но прежде всего он радовался тому, что принес интересные новости и первый сообщит их!

Ну и заваруха поднялась сегодня утром на гасиенде! Он не мог дожидаться, пока мы кончим пожимать руки, так ему не терпелось выложить новости.

— Хустино, помните Хустино? — так вот он убил свою сестру. Застрелил ее и сбежал в горы. Висенте — знаете,

какой он из себя? — вскочил на лошадь, погнался за ним и приволок назад. Теперь Хустино сидит в тюрьме, в той самой деревне, где сейчас наш поезд.

Желаемого эффекта он достиг — ошеломленные, мы закидали его вопросами. Да, сегодня утром и убил, часов в десять... Нет, они не ругались, никто ни о чем таком не слышал. Нет, Хустино ни с кем не ссорился. Никто не видел, как он ее застрелил. Утром он был веселый, работал, снимался в массовке.

Ни Андреев, ни Кеннерли не говорили по-испански. Парнишка же говорил на наречии, которое и я разбирала с трудом, но суть его слов я все же уловила и постаралась побыстрее перевести. Кеннерли подскочил, глаза его бешено выкатились: — В массовке? Вот те на! Мы разорены!

— Разорены? Почему?

— Ее семья подаст на нас в суд, потребует возмещения убытков.

Парнишка попросил объяснить ему, что это значит.

— Таков закон! Таков закон! — стонал Кеннерли. — Им причитаются деньги за потерю дочери. Обвинить нас в этом ничего не стоит.

У парнишки голова и вовсе пошла кругом.

— Он говорит, что ничего не понимает, — перевела я Кеннерли. — Он говорит, никто ни о чем подобном здесь не слышал. Он говорит, Хустино был у себя дома, когда это случилось, и тут никого, даже Хустино, нельзя винить.

— Ах, вот как! — сказал Кеннерли. — Понимаю. Ладно, пусть расскажет, что было дальше. Раз он убил ее не на съемках, остальное пустяки.

Он вмиг успокоился и сел.

— Да, да, садитесь, — мягко сказал Андреев, ядовито глянув на Кеннерли. Парнишка перехватил взгляд Андреева, явственно перевернул его в уме — очевидно, заподозрил, что он адресован ему, и застыл на месте, переводя взгляд с одного на другого; его глубоко посаженные глаза поугрюмели, насторожились.

— Да, да, садитесь и не забивайте им головы нелепо-

стями, от которых всем одна морока, — сказал Андреев.

Протянув руку, он подтолкнул парнишку к подлокотнику кресла. Остальные ребята сгучились у двери.

— Расскажите, что было дальше, — велел Андреев.

Чуть погодя паренек отошел, у него развязался язык:

— В полдень Хустино пошел домой обедать. Сестра его молола кукурузу на лепешки, а он стоял поодаль и переводил время — подбрасывал пистолет в воздух и ловил его. Пистолет выстрелил, пуля прошла у нее вот тут... — он тронул грудь у сердца. — Она замертво повалилась прямо на жернов. Тут же со всех сторон сбежался народ. Хустино как увидел, что натворил, пустился бежать. Он несся огромными скачками как полоумный, пистолет бросил и напрямиком через поля агав подался в горы. Висенте, дружок его, вскочил на лошадь и ну за ним, грозил винтовкой, кричал: «Стой, стрелять буду!» — а Хустино ему: «Стреляй, нашел чем пугать!» Только стрелять Висенте, конечно, не стрелял, а как догнал Хустино, двинул его прикладом по голове, кинул через седло и привез в деревню. Тут Хустино сразу посадили в тюрьму, но дон Хенаро уже в деревне — старается его выволить. Ведь Хустино застрелил сестру нечаянно.

— Снова все затягивается, буквально все! — сказал Кенерли. — Потерянное попусту время — вот что это значит.

— Но этим дело не кончилось, — сказал парнишка. Он многозначительно улыбнулся, понизил голос и таинственно, заговорщически сказал: — Актриса тоже тью-тью. Вернулась в столицу. Уж три дня как.

— Поссорилась с доньей Хулией? — спросил Андреев.

— Нет, — сказал парнишка. — Совсем не с доньей Хулией, а с доном Хенаро.

Все трое дружно захохотали, а Андреев обратился ко мне:

— Да вы же знаете эту безобразницу из Великолепного театра.

— А все потому, что дон Хенаро отлучился когда надо, — сказал парнишка еще более таинственно, чем раньше.

Кеннерли свирепо напыжил подбородок, только что не состроил рожу — так ему хотелось заставить Андреева и мальчишку замолчать. Андреев нахально ответил ему взглядом, исполненным глубокой невинности. Парнишка заметил взгляд Андреева, снова погрузился в молчание и принял горделивую позу — подбоченился и даже чуть отвернул от нас лицо. Едва поезд притормозил, как он вскочил и опрометью кинулся вон.

Когда мы наконец попрыгали с высокой подножки, он уже стоял около запряженной мулом тележки и здоровался с двумя индейцами, приехавшими нас встречать. Его юные прихвостни, помахав нам шляпами, пустились напрямик домой полями агав.

Кеннерли развернул бурную деятельность — сунув индейцам наши сумки, чтобы они уложили их в видавшей виды тележке, рассадил всех как следует, меня поместил между собой и Андреевым, назойливо подтыкал мою юбку, дабы и краем подола я не коснулась заразных иноземцев напротив.

Мелкорослый мул упирался острыми копытцами в камни, в дорожную траву, мыкался-мыкался, пока не набрел на шпалу, и, решив, что на худой конец и она сойдет, взял ровную щеголеватую рысь, колокольчики на его хомуте позвякивали, как бубен.

И так, тесно стиснутые, усевшись по трое в ряд друг против друга, запихнув сумки под скамейки и роняя солому из подстилок, мы понеслись от станции вскачь. Кучер время от времени поворачивался к мулу и, щелкнув его поводьями по крупу, кидал: — Невезучая семья. У них уже вторая дочь гибнет от братней руки. Мать с горя едва не отдала богу душу, а Хустино, такого хорошего парня, посадили в тюрьму.

Рослый здоровяк рядом с кучером, в полосатых бриджах и в шляпе, завязанной под подбородком тесьмой с красными кисточками на концах, вставил, что теперь Хустино, господь спаси его и помилуй, не выпутаться. Интересно, где он ухитрился раздобыть пистолет? Не иначе как свистнул



на съемках. По правде сказать, трогать оружие ему было не след, и тут он допустил первую промашку. Он-то думал сразу вернуть пистолет на место, да сами знаете, мальчишку на семнадцатом году хлебом не корми, а дай побаловаться оружием. И у кого повернется язык его винить... Девчонке двадцатый год пошел. Ее уже отвезли хоронить в деревню. Столько шуму, не приведи господь, а пока девчонка была жива, до нее никому не было дела. Сам дон Хенаро, как положено обычаем, пришел скрестить ей руки на груди, закрыть глаза и зажечь около нее свечу.

Все идет путем, говорили они благоговейно, и в глазах их плясали плотоядные огоньки. Когда твой знакомый становится героем такой драматической истории, испытываешь разом и жалость и возбуждение. Но мы-то остались в живых и, позвякивая колокольцами, катили вдаль под бездонным небом сквозь желтеющие поля цветущей горчицы, и колючие агавы, мельтеша перед глазами, складывались в узоры — прямые линии превращались в углы, углы в ромбы, потом в обратном порядке, — и так километр за километром они тянулись вдаль, вплоть до давящей громады гор.

— Но разве среди реквизита мог оказаться заряженный пистолет? — огорошила я вопросом здоровяка в шляпе с красными кисточками.

Он открыл рот для ответа и сразу закрыл. Наступила тишина. Все замолчали. И тут неловко стало мне: я заметила, что они переглянулись.

На лица индейцев возвратилось настороженное, недоверчивое выражение. Воцарилось тягостное молчание.

Андреев, который отважно пробовал свои силы в испанском, сказал: «Пусть я не могу говорить, но петь-то я могу», и на русский манер громко, разудало завел: «Ay, Sandunga, Sandunga, Mamá por Diós» \*. Индейцы радостно загалдели, так им понравилось, как выворачивает знакомые слова его непривычный язык. Андреев засмеялся. Его смех расположил их к нему. Молодой боксер грянул русскую песню, в свою очередь дав Андрееву повод посмеяться.

\* Ох и веселье у нас, мамаша, ей-богу (*исп.*).

Тут уж все, даже Кеннерли, разом грохнули, обрадовавшись возможности посмеяться вместе. Глаза смотрели в глаза из-под прикрытия сведенных век, а мелкорослый мул, напружив ноги, без понуканий перешел в галоп.

Через дорогу метнулся крупный кролик, за ним гнались тощие, оголодавшие псы. Казалось, сердце его вот-вот разорвется, глаза хрустальными шариками торчали из орбит.

— Давай-давай, кролик! — подгоняла я.

— Давай-давай, собаки! — подзадоривал рослый индеец в шляпе с красными тесемками — в нем проснулся азарт. Он повернулся ко мне, глаза его сверкали: — Вы на кого поставите, сеньорита?

Тут перед нами выросла гасиенда — монастырь, обнесенная стеной крепость, тускло-рыжая и медно-красная, — она высилась у подножья горы. Старуха, замотанная шалью, отворила массивные двустворчатые ворота, и мы въехали на главный скотный двор. В той части дома, что ближе к нам, во всех верхних окнах горел свет. На одном балконе стоял Степанов, на другом Бетанкур, на третий на минуту выскочил прославленный Успенский — он размахивал руками. Они приветствовали нас, не успев даже толком разглядеть, кто приехал, — так их обрадовало, что кто-то из своих вернулся из города и хоть отчасти нарушится однообразие этого затянувшегося дня, непоправимо разбитого несчастным случаем. Стройные лошади с крутыми лоснящимися крупами, длинными волнистыми гривами и хвостами стояли в патио под седлом. Крупные, вышколенные псы дорогих пород вышли нам навстречу и вальяжно проследовали вместе с нами по широким ступеням пологой лестницы.

В зале было холодно. Лампа под круглым абажуром, свисавшая с потолка, почти не рассеивала мрак. Дверные проемы в стиле порфирианской готики — этот период гражданской архитектуры нарекли в честь Порфирио Диаса — в облаке тисненных золотом обоев уходили ввысь над чашей малиновых, красных, оранжевых плюшевых кресел с

пружинными сиденьями, увешанными бахромой и кистями. Такие покои, предназначенные для малых приемов, вносили некоторое разнообразие в унылые ряды промозглых, мрачных комнат, десятками выстроившихся вдоль крытых галерей, которые окаймляли патио, сады и загоны. В одном углу стояла пианола светлого дерева — ничем не накрытая. Мы столпились около нее и, сдвинув головы, беседовали о погибшей девушке, о невзгодах Хустино; голоса наши звучали глухо — так действовала на нас несусветная, неистребимая скука, разлитая в здешнем воздухе.

Кеннерли все волновался, не подадут ли на нас в суд.

— Здесь ни о чем подобном и не слышали, — заверил его Бетанкур. — А потом, при чем тут мы?

Русские рассуждали, как быть дальше. Мало того, что девушка погибла, так еще они с братом снимались в картину. У брата была заметная роль, значит, съемки придется приостановить, пока он не вернется, а если он и вообще не вернется, тогда придется переснимать все.

Бетанкур — по рождению мексиканец, по происхождению смешанных испано-французских кровей, по воспитанию француз — всей душой стремился к изысканности и отрешенности, но этот его идеал находился в вечном противоборстве со своеобразным мексиканским национализмом, точившим его наподобие наследственного психического недуга. Как человека заслуживающего доверия и утонченных вкусов, Бетанкура официально отрядили присматривать, чтобы иностранные операторы не запечатлели ничего оскорбительного для национального достоинства. Двойственность его положения, похоже, ничуть не смущала Бетанкура. Он был откровенно счастлив и впервые за многие годы чувствовал себя на своем месте. Кто бы ни встретился нам на пути: нищие, бедняки, калеки, старики, уроды, — Бетанкур всех без исключения отгонял.

— Мне жаль, что так получилось, — говорил он и величаво помахал рукой, отгоняя пошлую человеческую жалость, назойливо, точно муха, жужжавшую где-то на задворках его сознания. — Но когда подумашь, на какую жизнь

она была здесь обречена, — и он отвесил почти незаметный поклон, отдавая дань тому социальному подходу, представителем которого считал русских, — понимаешь, что ей лучше было умереть.

Глаза его горели фанатическим огнем, крохотный ротик трепетал. Ноги и руки у него были как спички.

— Конечно, это трагедия, но у нас они случаются сплошь и рядом, — сказал он.

И так, походя, разделался с девушкой, похоронил и, безымянную, предал земле.

Молча вошла донья Хулия, неслышно ступая крохотными, как у китайки, ножками, обутыми в шитые туфли. Ей было лет двадцать от силы. Черные волосы плотно облегли круглую головку, на неживом восковом личике выделялись грубо намалеванные глаза.

— Мы здесь почти и не живем, — безмятежно лепетала она, рассеянно блуждая взглядом по чуждой ей обстановке, на фоне которой она казалась диковинной говорящей куклой. — Страхота, конечно, вы уж не взыщите. Дом запущенный, но кому охота стараться попусту? Индейцы ужасные лентяи, они все приводят в негодность. Здесь такая скучища, мы только из-за картины тут и сидим. Кому не хочется посмотреть, как снимают кино? — И добавила: — Нехорошо-то как получилось с этой бедной девушкой. Теперь не расхлебать неприятностей. И с братом ее тоже. — В столовую мы пошли вместе, и я все время слышала, как она бормочет под нос: — ...нехорошо... нехорошо... нехорошо-то как...

Дед дона Хенаро, которого мне охарактеризовали как джентльмена самой что ни на есть старой закалки, был в длительной отлучке. Он строго порицал свою внучатую невестку: в его пору ни одна дама и мыслить не могла показаться в таком виде на люди — ее вид оскорблял его: как светский человек, он обладал врожденным умением с одного взгляда оценить, определить женщину и поместить ее в соответствующую категорию. Без короткой интрижки с такой особой воспитание ни одного молодого человека нель-

зя счесть законченным. Но при чем тут брак? В его времена она в лучшем случае могла бы подвизаться на сцене. Деда утихомирили, однако неожиданный брак единственного внука, а следовательно и неизбежного наследника, который уже сейчас держался словно он глава семьи и не обязан ни перед кем отчитываться, ошеломил деда, но никоим образом не поколебал его убеждений. Он не понимал мальчика и не пытался его понять, зная наперед, что это пустая трата времени. И он перебрался вместе с мебелью и дорогими ему как память пожитками в самое дальнее патио старого сада, от которого уступами шли вниз вырубленные в горе площадки, и гордо пребывал там в мрачном одиночестве, отказавшись и от надежд, и от взглядов, а возможно презрев и те, и другие, и встречаясь с семьей лишь за столом. Место его на конце стола пустовало, толпа зевак, одолевавшая нас по воскресеньям, схлынула, и нам с избытком хватало места на другом конце.

На Успенском был неизменный полосатый комбинезон, его лицо нечеловечески мудрой обезьянки сильно обросло пушистой, самой что ни на есть обезьяньей бородой.

Он выработал свое, довольно проказливое, отношение к жизни, чуть ли не философию. Она помогала ему избавляться от объяснений и отделяться от совсем уж несносных зануд. Он развлекался в самых низкопробных театриках столицы и, льстя самолюбию мексиканцев, говорил, что по скабрзности их театры первые в мире. Ему нравилось разыгрывать посреди дня под открытым небом комические сценки из русской народной жизни с актерами, одетыми в мексиканские костюмы. Он смачно выкрикивал реплики и веселился до упаду, тыча в зад многострадального ослика, привыкшего к мытарствам и унижениям, неприличной формы тыквой.

— Ну как же, вы те самые дамы, которых вечно насилюют эти звери-негры, — рассыпался он в любезностях, когда его знакомили с южанками.

Но сегодня его лихорадило, он не находил себе места, все больше помалкивал, даже грубыми шутками, которыми

обычно прикрывал, маскировал всевозможные перепады своего настроения, перестал сыпать.

На Степанове, превосходном теннисисте, были фланелевые теннисные брюки и трикотажная тенниска. На Бетанкуре — элегантные бриджи и краги, но не потому, что он так уж любил ездить верхом, напротив, он, по мере сил, всячески этого избегал, просто в бытность свою в 1921 году в Калифорнии он понял, что именно так приличествует одеваться кинорежиссеру; режиссером, правда, он еще не был, но каким-то боком был причастен к созданию фильма, поэтому, когда съемки начинались, он завершал свой наряд пробковым шлемом на зеленой подкладке для окончательной полноты некой дорогой его сердцу иллюзии, которую питал относительно себя. Невзрачная шерстяная рубашка Андреева соседствовала с кричащим твидом Кеннерли. Я была в вязаном одеянии того типа, что хороши на все случаи жизни, кроме тех, когда их надеваешь. Словом, вместе взятые, мы являли сногшибательный контраст сидящей во главе стола донья Хулии, будто выпорхнувшей из голливудской комедии, в черной атласной в бантах радужной расцветки пижаме, в просторных рукавах которой путались ее детские ручонки с острыми алыми коготками.

— Не стоит ждать моего мужа, — сказала донья Хулия. — Он всегда занят и всегда опаздывает.

— Всегда гонит со скоростью семьдесят километров в час, как минимум, и никогда и никуда не поспевает вовремя, — любезно поддержал ее Бетанкур.

Его коньком была точность — он имел разные теории насчет скорости, как ее следует и как не следует использовать. Если бы человек заботился прежде всего о своем духовном развитии, ему не понадобилось бы прибегать ни к каким механизмам, он и без них сумел бы покорить время и пространство. И вместе с тем он вынужден признать, что ему самому, а ведь он может телепатически установить связь с кем его душе угодно и даже как-то раз одним усилием воли воспарил на целый метр над землей, —

ему самому умение подчинить себе механизмы доставляет огромное, захватывающее удовольствие. Почему он извлекает такое удовольствие из своего умения водить автомобиль, мне кое-что было известно. Взять хотя бы его привычку выжимать газ и переезжать пути прямо перед мчащимся поездом. Современность, говорил он, требует скорости, и каждый должен быть современным, насколько это ему по карману. Из речей Бетанкура я вывела, что дону Хенаро по карману быть в два раза современной, чем Бетанкуру. Он мог покупать мощные автомобили, перед которыми в испуге сторонились другие водители, он подумывал купить аэроплан, чтобы сократить расстояние между гасиендой и столицей; его идеалом были скорость и компактность. На дону Хенаро не угодишь, говорил Бетанкур, лошадь ли, собака ли, женщина ли, машина, дону Хенаро все кажется, что они могли бы быть побыстрее. Донья Хулия поощрительно улыбалась хвалам, расточавшимся, как ей казалось, ее мужу, ну а раз ее мужу, следовательно, и ей, а это всегда приятно.

Суматоха поднялась в коридоре, перекинулась на порог, потом в комнату. Слуги расступились, отпрянули назад, ринулись вперед, отталкивая друг друга, бросились за стулом, и в комнату влетел дон Хенаро в мексиканском костюме для верховой езды — серой куртке из оленьей кожи и тугих серых брюках на штрипках. Дон Хенаро оказался рослым, нравным молодым испанцем, голубоглазым, худошавым, узкогубым и изящным — сейчас он весь клокотал от возмущения. Он не сомневался, что мы разделим его возмущение; пока он не поздоровался со всеми, он держал себя в руках, потом опустился в кресло рядом с женой и, стукнув кулаком по столу, дал волю гневу.

Похоже на то, что этот балбес деревенский судья не отдаст ему Хустино. Похоже на то, что существует какой-то закон о преступной неосторожности. Для закона, сказал ему судья, не существует несчастных случаев в обыденном смысле этого слова. Закон требует провести тщательное расследование, исходя из того, что родственники жертвы

всегда находятся под подозрением. Дон Хенаро передразнил этого балбеса судью, показал, как тот разглагольствует, щеголяя своими юридическими познаниями. Потопы, извержения вулканов, революции, беглые лошади, оспа, поезда, сошедшие с рельсов, уличные драки и все тому подобное — от бога, сказал судья. А вот когда один человек стреляет в другого, это совсем иное дело. Такие случаи надлежит строжайшим образом расследовать.

— Я заявил ему, что к нашему случаю это не имеет никакого отношения, — рассказывал дон Хенаро. — Хустино, сказал я ему, мой пеон, его семья живет у нас в гасиенде хорошие три сотни лет, и я разберусь с ним сам. Я знаю, что и как там произошло, а вы ничего не знаете, и от вас требуется одно — отдать мне Хустино, и все. Причем сегодня же, завтра будет поздно, сказал я ему. Так нет же, судья запросил две тысячи песо, иначе он не соглашался отпустить Хустино. Две тысячи песо! Вы слышали что-нибудь подобное? — взревел дон Хенаро и грохнул кулаком по столу..

— Какая дичь! — сказала его жена, участливо улыбнувшись и одарив его ослепительной улыбкой. Он посмотрел на нее долгим взглядом, будто не мог припомнить, кто она такая. Она вернула ему взгляд — глаза ее искрились, неуверенная усмешечка растягивала углы рта, в которых размазалась помада. Он в бешенстве отвернулся, передернул плечами, будто стряхнув молчание, и захлеб, потрясенно, недоуменно продолжал свой рассказ, по ходу обращаясь то к одному, то к другому. За двумя тысячами песо он бы не постоял, просто ему опостылело, что с него везде и всюду дерут деньги, уму непостижимо, за что только с него не дерут; куда ни сунься, какой-нибудь ворюга-политик уже тянет к тебе лапу.

— Видно, выход тут один. Если заплатить судье, с ним потом не справиться. Он будет арестовывать моих пеонов, стоит кому-нибудь из них показаться в деревне. Съезжука я в Мехико, повидаюсь с Веларде...

Все согласились, что Веларде именно тот человек, что



нужно. Более влиятельного и удачливого революционера в Мексике не сыскать. Ему принадлежали две гасиенды, где производят пультке, — они перепали Веларде при великом переделе земель. Заправлял он и двумя крупнейшими молочными фермами в стране, поставлял молоко, масло и сыр во все благотворительные заведения страны — сиротские дома, психиатрические больницы, исправительные колонии, тюрьмы, запрашивая вдвое против других ферм. Принадлежала ему и большая гасиенда, где выращивали авокадо; подвластны ему были и армия, и могущественный банк; президент республики не проводил ни одного назначения, не посоветовавшись с Веларде. Каждый день на первых страницах двадцати газет он разил контрреволюцию и продажных политиков — для чего же, иначе он их купил? На него работали три тысячи пеонов. Сам работодатель, он поймет, с чем ведет борьбу дон Хенаро. Сам честный революционер, он сумеет найти управу на этого мелкого взяточника судью.

— Поеду повидаться с Веларде, — сказал дон Хенаро неожиданно потухшим голосом, так, словно надежда оставила его или разговор до того наскучил, что расхотелось его продолжать. Он откинулся на спинку стула и холодно оглядел гостей. Все по очереди высказались, но слова их были ему безразличны. События этого утра уже отодвинулись так далеко, что нечего было их держать в голове.

Успенский чихнул, прикрыв лицо руками. На заре он простоял битых два часа по пояс в ледяном источнике, куда водили коней на водопой, на узенькой каменной приступке которого поместил Степанова с его камерой — так он руководил съемкой эпизода: по его глубокому убеждению, этот эпизод можно было снимать только оттуда. И конечно, подхватил простуду; теперь он сжевал ложку жареных бобов, осушил разом полстакана пива и тишком сполз с длинной скамьи. Два прыжка — и его расчерченный слишком крупными полосками комбинезон скрылся за ближайшей дверью. Он рванул отсюда так, будто не мог больше дышать здешним воздухом.

— Его лихорадит, — сказал Андреев. — Если он сегодня не поправится, придется послать за доктором Волком.

Грузный увалень в линялом синем комбинезоне и шерстяной рубашке сел на свободное место на другом конце стола. Отвесил поклон всем и никому в частности; педантичный Бетанкур не преминул поклониться ему в ответ.

— Смотрите, а вы его не узнали! — понизив голос, сказал Бетанкур. — Это же Карлос Монтанья. Сильно изменился, правда?

Ему очень хотелось, чтобы я с ним согласилась. Все мы, наверно, изменились за десять лет, сказала я. Вдобавок Карлос отпустил бороду. Взгляд Бетанкура недвусмысленно дал мне понять, что я, как и Карлос, тоже изменилась к худшему, но Бетанкур не допускал и мысли, что и сам он изменился.

— Не исключено, — нехотя признал он, — но большинство из нас изменилось только к лучшему. А вот Карлосу не повезло. И не в том причина, что он отпустил бороду и разжирел. А в том, что он законченный неудачник.

— Вчера я с полчаса летал на «Мотыльке», блеск, ничего не скажешь, — обратился к Степанову дон Хенаро. — Я, наверное, куплю его. Мне нужен по-настоящему быстрый аэроплан. Непременно быстрый, и притом не махина какая-нибудь. Такой, чтобы всегда был к твоим услугам.

Степанов славился своим умением водить аэроплан. Он отличался во всех областях, которые пользовались уважением дон Хенаро. Дон Хенаро почтительно слушал Степанова, а тот давал ему четкие, разумные советы: какой аэроплан лучше купить, как его содержать и с какими вообще мерками следует подходить к аэропланам.

— Кстати, об аэропланах, — вмешался в их разговор Кеннерли. — Я бы лично с мексиканским пилотом нипочем не полетел...

— Аэроплан! Наконец-то! — по-детски радостно залепетала донья Хулия.

Она перегнулась через стол и ласковым голосом, каким будят поутру, окликнула по-испански:

— Карлос! Вы слышите? Хенарито надумал подарить мне аэроплан!

Дон Хенаро, будто не слыша ее, продолжал разговаривать со Степановым.

— А зачем вам аэроплан? — спросил Карлос, его круглые глаза благодушно лучились из-под кустистых бровей. Не поднимая головы, ложкой, как едят мексиканские крестьяне, он продолжал с аппетитом наворачивать жареные бобы под томатным соусом.

— Кувыркаться буду в нем, — сказала донья Хулия.

— Законченный неудачник, — повторил Бетанкур по-английски, чтобы Карлос его не понял, — хотя, надо сказать, сегодня он выглядит еще хуже обычного. Утром он поскользнулся в ванной и ушибся. — Бетанкур сказал это так, будто привел еще одно свидетельство против Карлоса, еще одно знаменательное доказательство его роковой склонности катиться вниз.

— По-моему, он написал чуть не половину популярных мексиканских песен, — сказала я. — Лет десять назад тут только его песни и пели. Что с ним стряслось?

— Так то десять лет назад. Теперь он почти ничего не делает. Он больше не возглавляет Великолепный театр, его давным-давно сместили!

Я пригляделась к неудачнику. Вид у него был вполне неунывающий. Отбивая ритм рукояткой ложки, он напевал Андрееву песню — тот слушал, склонив к нему голову.

— Вот вам первые два такта, — сказал Карлос по-французски, — а дальше вот так, — напевал он, отбивая ритм. — Ну а это для танца...

Андреев напел мелодию, помахивая правой рукой и указательным пальцем левой пристукивая по столу. Бетанкур минуту-другую смотрел на них.

— Теперь-то, когда я достал ему эту работу, бедолага, конечно, воспрял, — сказал он. — Как знать, вдруг ему удастся начать все сначала. Но он, бывает, утомляется,

горазд выпить, словом, уже не тот, что раньше.

Карлос весь обмяк, голова его ушла в плечи, глаза почти скрылись за набрякшими веками, он недовольно тыкал вилкой в enchiladas \* со сметаной.

— Вот увидишь, — сказал он Андрею по-французски, — Бетанкур нам и это завернет. Выищет какой-нибудь изъясн... — сказал не злобно и не затравленно, а с какой-то печальной убежденностью. — Заявит, что не чувствуется современность, нет связи с традициями, отсутствует мексиканский дух... Да что говорить, сам увидишь...

Бетанкур пожертвовал свои юные годы разгадке неподатливых тайн вселенской гармонии, разгадывал он их, применяя астрономию, астрологию, кабалистику чисел, формулу передачи мыслей на расстояние, глубокое дыхание и тренировку воли к победе, все это он подкреплял изучением новейших американских теорий личного самоусовершенствования, кое-какими замысловатыми магическими ритуалами и тщательным подбором доктрин самых разных школ восточной философии, увлечение которыми время от времени охватывает всю Калифорнию. И так вымостил Истинный Путь — на путь этот можно было наставить любого, а уж дальше всякий неопит уверенными стопами невозбранно шел прямо к Успеху; Успех, можно сказать, плыл в руки, давался сам собой без всяких усилий, кроме разве что приятных; Успех этот вмещал в себя высочайшие духовные и эстетические достижения, не говоря о материальном вознаграждении, и немало. Богатство, разумеется, не было пределом стремлений; само по себе оно вовсе не означало Успеха, но, конечно же, оно неназойливо сопутствовало всякому подлинному успеху... Во всеоружии этих теорий Бетанкур лихо понес Карлоса. Карлос никогда не считался с вечными законами. Свои мелодии он сочинял, не давая себе труда вдуматься в глубиннейший смысл музыки, а ведь в основе ее лежит гармония сфер... Не счесть, сколько раз он, Бетанкур, предостерегал Карлоса. И все без толку. Карлос сам навлек на себя гибель.

\* перченый пирог (*исп.*).

— И вас я тоже предостерегал, — сказал он озабоченно. — Не счесть, сколько раз я задавался вопросом, почему вы не хотите или не можете причаститься этих тайн — подумайте только, какая сокровищница открылась бы вам... Когда обладаешь научной интуицией, тебе нет преград. Руководствуясь одним интеллектом, вы обречены терпеть неудачи.

— Ты обречен терпеть неудачи, — без конца твердил он недалекому бедолаге Карлосу.

— Карлос стал законченным неудачником, — сообщал он всем.

Теперь он чуть ли не любовно взирал на дело рук своих, но по Карлосу, пусть он выглядел и опустившимся и поникшим, видно было, что в свое время он славно поработал и не собирается ставить на себе крест. Аккуратная щуплая фигурка с узенькой спинкой принимала изящные позы, чересчур красивые узенькие ручки мерно мотались на бестелесных запястьях. Я припомнила, скольким Бетанкур был обязан Карлосу в прошлом: отчаянный добряк нерасчетливо взвалил на хрупкие плечи Бетанкура непосильный груз благодарности. Бетанкур запустил в действие весь механизм законов вселенской гармонии, имеющийся в его распоряжении, дабы с их помощью отомстить Карлосу. Работа подвигалась медленно, но он не сдавался.

— Успех, неудача, я, признаться, не понимаю, что вы обозначаете этими словами, и никогда не могла понять, — наконец не стерпела я.

— Конечно, не могли, — сказал он. — И в этом ваша беда.

— Вам бы надо простить Карлоса... — сказала я.

— Вы же знаете, что я никого ни в чем не виню, — совершенно искренне сказал Бетанкур.

Пока Карлос здоровался со мной, все поднялись из-за стола и через разные двери потекли из комнаты. Карлос говорил о Хустино и его невзгодах с насмешливой жалостью.

— Чего еще ожидать, когда заводят шашни в кругу семьи?

— Не будем об этом сейчас, — оборвал его Бетанкур. И гнусаво, дребезжаще хихикнул.

— Если не сейчас, так когда же? — сказал Карлос, он вышел вместе с мной. — Я сложу *corrido* \* о Хустино и его сестренке. — И он чуть не шепотом запел, подражая уличным певцам, сочиняющим баллады на закате, — точь-в-точь тем же голосом, с теми же жестами:

Ах, бедняжка Розалита  
Ветрена, и потому  
Сердце пылкое разбила  
Ты братишке своему.

Ах, бедняжка Розалита,  
Вот лежит она, прошита  
Сразу пулями двумя...  
Так что, юные сестрицы,  
Не давайте братцам злиться,  
Не сводите их с ума.

— Одной пулей, — Бетанкур погрозил Карлосу длинным тонким пальцем, — одной!

— Хорошо, пусть одной! — засмеялся Карлос. — Какой придира, однако! Спокойной ночи!

Кеннерли и Карлос рано ушли к себе. Дон Хенаро весь вечер играл в бильярд со Степановым и неизменно оказывался в проигрыше. Дон Хенаро отлично играл на бильярде, но Степанов был чемпион, неоднократно брал всевозможные призы, так что потерпеть от него поражение было не постыдно.

В продуваемом сквозняками зале верхнего этажа, переоборудованном в гостиную, Андреев, отключив приставку, пел русские песни, а в перерывах, припоминая, какие еще песни он знает, пробегал руками по клавишам фортепиано. Мы с доньей Хулией слушали его. Он пел для нас, но в основном для себя, с той же намеренной отключенностью от окружающего, с той же нарочитой отрешенностью, которые побуждали его все это утро рассказывать нам о России.

\* народную балладу (*исп.*).

Мы засиделись допоздна. Встретившись глазами со мной или с Андреевым, донья Хулия не забывала улыбнуться, частенько прикрыв рот рукой, зевала, китайский мопс посапывал, развалиясь на ее коленях.

— Вы не устали? — спросила я ее. — Мы не слишком поздно засиделись?

— Нет, нет, пусть поет. Терпеть не могу ложиться рано. Если можно посидеть попозже, я никогда не иду спать. И вы не уходите!

В половине первого Успенский призвал к себе Андреева, призвал и Степанова. Он не находил себе места, его лихорадило, тянуло разговаривать.

Андреев сказал:

— Я уже послал за доктором Волком. Лучше захватить болезнь в самом начале.

Мы с доньей Хулией заглянули в бильярдную на первом этаже — там дон Хенаро пытался уравнять счет со Степановым. В окнах торчали головы индейцев; перегнувшись через подоконники, они молча наблюдали за игрой, их громадные соломенные шляпы сползали им на нос.

— Значит, ты сегодня не едешь в Мехико? — спросила мужа донья Хулия.

— С какой стати мне туда ехать? — не поднимая на нее глаз, ни с того ни с сего ответил он вопросом на вопрос.

— Да так, мне подумалось — вдруг ты поедешь, — сказала донья Хулия. — Спокойной ночи, Степанов, — сказала она, черные глаза ее мерцали из-под удлинённых серебристо-голубыми тенями век.

— Спокойной ночи, Хулита, — сказал Степанов, его открытая улыбка северянина могла означать что угодно и не означать решительно ничего. Когда Степанов не улыбался, его выразительное, энергичное лицо суровело. Улыбался он с обманчивой наивностью, как мальчишка. Но кем-кем, а наивным он никак не был; и сейчас он веселился над нелепой фигуркой, будто забредшей сюда из кукольного театра, необидно, как веселятся только в добрых книжках. Уходя, донья Хулия искоса метнула на него сверкающий

взгляд, заимствованный из арсенала голливудских *femmes fatales* \*. Степанов не отрывал глаз от своего кия, словно изучал его в микроскоп. Дон Хенаро, бросив: «Спокойной ночи», в злобе кинулся вон из комнаты на скотный двор.

Мы с доньей Хулией прошли через ее спальню, вытянутую, узкую комнату, между бильярдной и бродильней. Здесь пенились шелк и пух, сверкали нестерпимым блеском свежеполированное дерево и огромные зеркала, рябило в глазах от всяческих безделушек — коробок конфет, французских кукол в кринолинах и пудренных париках. В нос шибал запах духов, его перебивал другой запах, еще тяжелее первого. Из бродильни непрерывно доносились глухие крики, грохот бочек, скатывающихся с деревянных помостов на тележку, стоящую на рельсах, проложенных у дверного проема. Я не могла отделаться от этого запаха с самого своего приезда, но здесь он плотным туманом поднимался над басовитым жужжанием мух — кислый и затхлый, как от заплесневевшего молока или протухшего мяса; шум и запах сплелись в моем сознании воедино, и оба переплелись с прерывистым грохотом бочек и протяжными, певучими криками индейцев. Поднявшись по узкой лесенке, я оглянулась на донью Хулию. Сморщив носик, она смотрела мне вслед, прижав к лицу китайского мопса, его нос, как всегда, морщила брюзгливая гримаска.

— Какая гадость это пульке! — сказала она. — Надеюсь, шум не помешает вам спать.

На моем балконе гулял резкий свежий ветер с гор, здесь к нему не примешивались ни парфюмерные ароматы, ни бродильный дух.

— Двадцать одна! — тягуче, мелодично выводил хор индейцев усталыми взбудораженными голосами, и двадцать первая бочка свежего пульке летела по каткам вниз, где двое индейцев подхватывали ее и загружали на тележку прямо под моим окном.

Из окна по соседству слышалось негромкое бормотанье троих русских. Свины, похрюкивая, копошились в вязкой

\* роковых женщин (*франц.*).



грязи около источника; хотя уже сгустились сумерки, там всюю шла стирка. Женщины, стоя на коленях, хлестали мокрым бельем по камням, болтая и пересмеиваясь. Похоже, этой ночью все женщины смеялись: далеко за полночь от хижин пеонов, тянувшихся вдоль скотного двора, доносились переливы громкого, заразительного смеха. Ослики взревывали, плакались друг другу; повсюду царила беспокойная дрема, животные били копытами, сопели, хрипели. Внизу, в бродильне, чей-то голос вдруг пропел отрывок непотребной песни, прачки было замолкли, но тут же между ними вновь пошли пересмешки. У арки ворот, ведущих во внутренний двор перед гасиендой, поднялась суматоха: один из породистых вышколенных псов (куда только подевалась его важность), не на шутку взъярясь, гнал задастого солдатика — чтобы не шатался, где не положено, — назад к казармам, размещенным у крепостной стены, напротив индейских хижин. Солдатик послушно улепетывал, ковыляя и спотыкаясь, но не издавая ни звука; его тусклый фонарь мотало из стороны в сторону. Посреди двора, словно тут пролегалась невидимая граница, пес застыл, проводил солдата взглядом и вернулся на свой пост под аркой. Солдаты, присланные правительством охранять гасиенду от партизанских отрядов, били баклуши, наталкивая животы бобами за счет дона Хенаро. Он, как и собаки, терпел их скрепя сердце.

Меня усыпили протяжные, певучие голоса индейцев, ведущих подсчет бочкам в бродильне, а на рассвете, летнем рассвете, разбудила их заунывная утренняя песня, лязг железа, скрип кожи, топот мулов, которых впрягали в телеги... Кучера щелкали кнутами, покрикивали, и груженные телеги, грохоча, уезжали одна за другой навстречу поезду, который отвозил пульке в Мехико-сити. Работники отправлялись в поле, гнали перед собой осликов. Они тоже покрикивали и поколачивали осликов палками, но не спеша, не суетясь. Да и зачем спешить: впереди их ждала работа, усталость, словом, день как день. Трехлетний мальчонка, семена

рядом с отцом, погонял ослика-отъемыша, на мохнатой спинке которого громоздились два бочонка. Два маленьких существа, каждое на свой манер, подражали старшим. Мальчонка покрикивал на ослика и поколачивал его, ослик плелся ползком и при каждом ударе прядал ушами.

— Господи ты боже мой, — часом позже сказал за кофе Кеннерли, отогнал тучу мух и нетвердой рукой налил себе кофе. — Разве вы не помните... Я всю ночь глаз не мог сомкнуть, у меня никак не выходило из головы, да вспомните же, — упрасивал он Степанова — тот, прикрыв рукой свой кофе от мух, докуривал сигарету, — эпизод, что мы снимали две недели назад, там еще Хустино играл парня, который нечаянно застрелил девушку, пытался бежать, за ним послали погоню, и Висенте в ней участвовал. Точь-в-точь то же самое повторилось с теми же людьми на самом деле. И представьте, какая нелепость, — обратился он ко мне, — нам придется переснимать этот эпизод: он неважно получился, а тут он повторился на самом деле, и никто даже не позаботился его снять! О чем они только думают! Представьте, как бы было здорово — девушка крупным планом, мертвая по-настоящему, и по лицу Хустино, когда Висенте двинул его прикладом, течет самая настоящая кровь, и хоть бы кто, господи ты боже мой! хоть бы кто об этом позаботился! Как с приезда сюда у нас не заладилось, так и пошло-поехало — то одно, то другое... А теперь объясните мне, что вам помешало?

Он впился в Степанова злобным взглядом. Степанов отнял руку от чашки, разогнал мух, тучей вившихся над ней, и выпил кофе.

— Свет, наверно, был плохой, — сказал он. Широко раскрыл глаза — кинул взгляд на Кеннерли — и тут же их закрыл, так, будто запечатлел его на пленке, а запечатлев, счел, что сюжет исчерпан.

— Дело ваше, конечно, — обиделся Кеннерли, — а только история эта повторилась, повторилась не по нашей вине, так почему бы вам ее не снять — зачем ей пропадать впустую?

— Снять мы всегда успеем, — сказал Степанов, — вот вернется Хустино, будет подходящий свет, тогда и снимем. Свет, — обратился он ко мне, — наш злейший враг. Здесь хороший свет бывает раз в пять дней, а то и реже.

— А вы представьте, нет, представьте-ка, — накинул на него Кеннерли, — бедный парень возвратится, и ему снова здорово придется проделывать все, что он уже дважды проделал, первый раз на съемочной площадке, второй — на самом деле. — Он со смаком повторил последнее слово. — Подумайте, каково-то ему будет. Тут и рехнуться недолго.

— Вернется он, тогда и будем решать, — сказал Степанов.

Во дворе пяток мальчишек-индейцев в рваных белых балахонах, сквозь прорехи которых проглядывали их глянцево-смуглые тела, седлали лошадей, набрасывали на их спины роскошные замшевые седла, шитые серебром и перламутром. К источнику снова тянулись женщины. Свины копошились в дорогах их сердцу лужах, в бродильне дневная смена в полном молчании заливала обтянутые сыромятной кожей чаны свежим соком. Карлос Монтанья тоже вышел спозаранку подышать свежим утренним воздухом и сейчас во всю потешался, глядя, как трое псов, подняв из лужи долговязую свинью, гонят ее к сараю. Свинья враскачку, как игрушечная лошадка, неслась к загону, зная, что там ее не достать, собаки делали вид, что вот-вот тяпнут ее за ногу, чтобы не сбавляла темп. Карлос, держась за бока, покатывался от хохота, мальчишки вторили ему.

Испанец-надсмотрщик — в картине он играл роль злодея (их там было немало) — вышел в тугих новых бриджах из такой же, как седла, расшитой серебром замши, сел, ссутулясь, на скамью неподалеку от выходящей на главный скотный двор арки. И просидел так весь день напролет — он сидел здесь не один год, и одному богу известно, сколько еще просидит. На его вытянутом ехидном лице типичного испанца с севера была написана убийственная скука. Низко натянув козырек английской кепки на близко посаженные глаза, он сидел, ссутулясь, и так ни разу и не полюбопытствовал, что развеселило Карлоса. Мы с Андреевым помахали

Карлосу, и он поспешил к нам. Его все еще разбирал смех. Теперь он смеялся не над свиньей, а над надсмотрщиком — у того было сорок пар фасонистых брюк, какие носят *chaggos* \*, но, по его мнению, для съемок ни одни из них не годились, и он за большие деньги заказал портному новые брюки, но тот сшил такие тугие, что он еле-еле в них влез, — те самые, в которые вырядился сегодня. Он рассчитывал, что, если носить их каждый день, они растянутся. Горю его не было предела — похоже, он одними брюками и жил.

— Он не знает, что с собой делать, кроме как нацеплять каждый день новые брюки пофасонистей и просиживать с утра до вечера на скамейке в надежде — вдруг что-нибудь, хоть что-нибудь произойдет.

— Мне-то казалось, — сказала я, — что за последние недели и так слишком много всего произошло... Ну, если не за последние недели, так уж за последние дни, во всяком случае.

— Ну нет, — сказал Карлос, — этого им надолго не хватит. Им подавай настоящую заваруху, вроде последнего налета партизан. Тогда на башни втащили пулеметы, мужчинам выдали по винтовке и пистолету — погуляли всласть. Налет отбили, а пули, что остались, выпустили в воздух — знай наших! Так и то назавтра они уже заскучали. Всё надеялись, что налет повторится. Никак нельзя было им втолковать, что хорошего, мол, понемножку.

— Они что, и впрямь так не любят партизан? — спросила я.

— Да нет, просто они не любят скучать, — сказал Карлос.

Осторожно ступая, мы прошли через бродильню — на глинобитном полу здесь стояли лужи сока; с праздным любопытством, молча, будто проглотили язык, смотрели, как тонут в вонючей жидкости, переливающейся через края провисших мохнатых шкур, натянутых на деревянные рамы, мухи. *María Santísima* \*\* чинно стояла в крашенной

\* помещицья полиция (*исп.*).

\*\* Святая Мария (*исп.*).

синей масляной краской нише, увитой засиженными мухами гирляндами бумажных цветов; негасимая лампада теплилась у ее ног. Стены покрывала выцветшая фресковая роспись, она рассказывала, откуда взялось пульке; легенда гласит, что юная индеанка нашла божественный напиток и принесла его правителю, за что правитель наградил ее по-царски, а боги после смерти приблизили к себе. Древняя легенда, возможно, древнейшая, явно связанная и с поклонением плодородию, женскому и земному, и с ужасом перед ним же.

Бетанкур, остановившись на пороге, храбро втянул носом воздух. Взглядом знатока окинул стены.

— Отличный образчик, — сказал он, с улыбкой оглядывая фреску, — просто замечательный... Чем они старше, тем они, естественно, лучше. Достоверно известно, — сказал он, — что испанцы нашли в пулькериях, построенных еще до завоевания, настенные росписи... И всегда на них изображается один сюжет: история пульке. Так с тех пор оно и продолжается. Ничего никогда не кончается, — сказал он, помахивая красивой тонкой рукой, — все продолжается, а продолжаясь, постепенно теряет свой прежний облик.

— По-моему, это тоже своего рода конец, — сказал Карлос.

— Разве что по-твоему, — с высоты своего величия Бетанкур снисходительно улыбнулся старому другу, который тоже постепенно терял свой прежний облик.

В одиннадцатом часу появился дон Хенаро, он ехал в деревню, хотел еще раз повидать судью. Свет нас сегодня не баловал: солнце то ярко светило, то пряталось за облаками, и донья Хулия, Андреев, Степанов, Карлос и я отправились гулять по крышам гасиенды, откуда открывался вид на гору и необозримые пространства пестрых, как лоскутное одеяло, полей. Степанов — у него был с собой портативный фотоаппарат — снял нас здесь вместе с собаками. Где только он нас не снимал: и на ступеньках лестницы с осленком, и с индейскими ребятами, и у источника, и на самой дальней, длинным уступом огибающей гору площадке старого сада, той самой, куда удалился дед дон Хенаро, и перед

закрытой часовней (Карлос изображал там набожного толстяка священника), и в патио в самом конце той площадки, где сохранились развалины каменной купальни, оставшиеся еще от старых монастырских построек, и в пулькерии.

Всем нам порядком надоело сниматься, и мы перегнулись через парапет и стали смотреть, как дон Хенаро собирается в путь... Он вмиг скатился с лестницы — индейские мальчишки, пропуская его, посыпались в разные стороны, — вскочил на арабскую кобылу, слуга, державший ее под уздцы, тут же их отпустил, сел на коня, и дон Хенаро вихрем понесся со скотного двора, а за ним, метрах в пяти, тяжело скакал его слуга. Псы, свиньи, ослы, женщины, младенцы, ребяташки, цыплята — все бросились перед ним враспынную; солдатики распахнули тяжелые ворота, и хозяин и слуга на бешеной скорости вылетели со двора и скрылись в ложбине — дорога тут резко шла вниз.

— Без денег судья не отпустит Хустино, я это знаю, и все это знают. И Хенаро это знает не хуже меня. Но он все равно не отступает, — журчала донья Хулия, в ее ровном голоске слышалось безразличие.

— Все-таки небольшая вероятность есть, — сказал Карлос. — Если Веларде даст распоряжение, вы сами убедитесь, Хустино вылетит из тюрьмы — вот так! — и, щелкнув пальцами, выстрелил воображаемой горошиной.

— Правда ваша, но какой куш придется отвалить Веларде! — сказала донья Хулия. — Ужасная досада, съемки так хорошо пошли, и на тебе... — Она скосила глаза на Степанова.

— Момент, еще момент, не двигайтесь! — попросил он, навел аппарат, нажал кнопку и тут же отвернулся и наставил объектив на какого-то человека в нижнем патио. Висенте — сверху его грязная белесо-серая фигура на фоне грязной изжелта-серой стены казалась приплюснутой к земле, — нахлобучив на глаза шляпу и скрестив руки на груди, стоял, не двигаясь с места. Простоял так довольно долго, уставившись перед собой в одну точку, потом решительно направился к воротам, но, не дойдя до них, остановился и снова

оставился в одну точку, арка ворот, как рама, окаймляла его фигуру. Степанов сфотографировал его еще раз.

— Не понимаю, почему он помешал Хустино убежать, пусть бы тот хотя бы попытался... как-никак они дружили... Чего я не понимаю, так это почему он погнался за ним? — спросила я Андреева — он шел поодаль от всех.

— Вот местку, — сказал Андреев. — Посудите сами, друг так коварно предал тебя, да еще с женщиной, да еще с сестрой — легко ли! Не мудрено, что Висенте остервенился. Наверно, не помнил себя... Теперь, я думаю, он и сам раскаивается...

Через два часа дон Хенаро со слугой вернулись; они ехали шагом, но перед самой гасиендой подхлестнули лошадей и промчались на скотный двор таким же бешеным галопом, как и умчались отсюда. Прислуга, пробудившись от спячки, засуетилась, забегала взад-вперед, вверх-вниз по лестницам; живность, как и прежде, пустилась от них наутек. Трое индейских мальчишек кинулись ловить кобылу за уздцы, но Висенте опередил всех. Кобыла мотала головой, норовя вырваться, и Висенте плясал и скакал вместе с ней, не сводя глаз с дона Хенаро, но тот легко, как акробат, прыгнул на землю и ушел в дом — лицо его было совершенно непроницаемо.

Ничего не изменилось. Судья, как и прежде, требовал две тысячи песо, иначе он не соглашался выпустить Хустино. Наверняка именно такого ответа и ждал Висенте. Весь день он просидел у стены, безвольно уронив голову на колени и нахлобучив шляпу на глаза. Полчаса не пройдет, как дурные вести дойдут до последнего работника на самом дальнем поле. За столом дон Хенаро не проронил ни слова — он ел и пил в такой спешке, будто боялся упустить последний поезд и сорвать путешествие, от которого зависит вся его жизнь.

— Этого я не потерплю, — вырвалось у него, и он стукнул кулаком по столу, едва не разбив тарелку. — Знаете, что этот дурак судья мне сказал? Спросил, чего ради я так хлопочу из-за какого-то пеона. Не учите меня, о чем мне хлопочу

тать, сказал я ему. А он мне: «Я слышал, у вас снимают картину, где люди убивают друг друга». Так вот, мол, у него в тюрьме полным-полно людей, которых давно пора расстрелять, и он будет только рад, если мы перестреляем их на съемках. Он, мол, никак не возьмет в толк, зачем убивать людей понарошку, когда сколько нам нужно убить, столько он нам и придет. И Хустино, он считает, тоже надо расстрелять. Пусть только попробует! Но и двух тысяч песо ему от меня не дожидаться!

На закате, гоня перед собой ослон, возвратились работники с полей. В бродильне индейцы наполняли готовым пульке бочки, заливали в вонючие чаны свежий сок. И снова певучие, протяжные голоса считали бочки, и снова бочки с грохотом летели вниз по каткам — наступала ночь. Белое пульке лилось рекой — по всей Мексике индейцы будут глотать это мертвенно-бледное пойло, будут пить из реки, чьи воды несут забвение и покой, деньги серебристо-белым потоком потекут в правительственную казну, дон Хенаро и другие владельцы гасиенд будут бушевать и чертыхаться, партизаны будут совершать налеты, а властолюбивые политики в столице будут воровать что ни попадет под руку, чтобы купить себе такие же гасиенды. Все было predetermined.

Мы провели вечер в бильярдной. Приехал доктор Волк, присидел целый час у постели Успенского — у него воспалилось горло, мог начаться тонзиллит. Доктор Волк обещал его вылечить. А пока он играл на бильярде со Степановым и с доном Хенаро. Доктор он был замечательный, самозабвенный, безотказный; сам русский, он откровенно радовался тому, что может опять побыть с русскими, что ему достался не слишком тяжелый пациент и что он может еще и поиграть в бильярд, а он это очень любил. Когда подошла его очередь, он с широкой улыбкой навис над столом, чуть не лег на зеленое сукно, закрыл один глаз, повертел кий, прицелился и снова повертел кий. И, так и не ударив, распрямылся, улыбаясь, зашел с другого боку, прицелился, чуть не распластавшись на зеленом



сукне, стукнул по шару, промахнулся — и все это не переставая улыбаться. Потом бил Степанов.

— Уму непостижимо, — сказал доктор Волк, в восторге тряся головой. Он так сосредоточенно следил за Степановым, что у него даже слезы выступили на глазах. Андреев, сидя на низком табурете, брэнчал на гитаре и тихо напевал одну русскую песню за другой. Донья Хулия свернулась рядом с ним клубочком на диване в своей черной пижаме, китайский мопс обвил ее шею, как шарф. Ожиревшая собака сопела, стонала и вращала глазами, млея от наслаждения. Огромные псы, недоуменно наморщив лбы, обнюхивали ее. Мопс подвывал, скулил и норовил их цапнуть.

— Они думают, он игрушечный, — радовалась донья Хулия.

Карлос и Бетанкур устроились за небольшим столиком, разложили перед собой ноты и эскизы костюмов. Они разговаривали так, словно далеко не в первый раз обсуждают давно наскучившую обоим тему.

Я разучивала новую карточную игру со смуглым худым юнцом, каким-то помощником Бетанкура. Лощеный, с невероятно тонкой талией, он, как сообщил мне, занимался фресковой живописью, только он работал «в современной манере, как Ривера \*», но не в таком допотопном стиле, как тот. Я сейчас расписываю дом в Герनावаке, приезжайте посмотреть. Вы поймете, что я имею в виду. Зря вы пошли с этой карты, — добавил он, — теперь я пойду вот так, и вы окажетесь в проигрыше. — Он собрал карты и перетасовал. — Раньше режиссер маялся с Хустино, — сказал он, — серьезные сцены играют, а Хустино все смешки, в сцене смерти он улыбался во весь рот, уйму пленки из-за него извели. Все говорят: вот вернется он, тогда ему уж не придется напоминать: «Не смейся, Хустино, смерть дело нешуточное».

Донья Хулия стянула мопса на колени, перевернула на спину, принялась тормошить.

— Как только Хустино выпустят, он и думать позабудет

\* Диего Ривера (1886—1957) — мексиканский художник. Один из создателей национальной школы монументальной живописи.

и о сестре, и обо всем прочем, — лопотала она, глядя на меня ласковыми пустыми глазами. — Это скоты. Они ничего не чувствуют. И потом, — добавила она, — как знать, вдруг он и вовсе не вернется.

Этим людям, которых свел лишь случай, которым не о чем было разговаривать, пришлось коротать время вместе, и они погрузились в глубокое молчание, чуть ли не в транс. Они попали в переplet, каждый из них на свой лад находил забвение в деле, а сейчас делать было нечего. Тревога достигла крайнего напряжения, когда чуть ли не на цыпочках, будто в церковь, вошел Кеннерли. Все обратились к нему так, словно в его лице им явилось спасение. Он громко возвестил:

— Мне придется сегодня же вечером отправиться в Мехико. Куча неприятностей с картиной. Надо съездить и выяснить все на месте с цензорами. Я только что туда звонил, и мне сказали, что поговаривают, будто они хотят вырезать целую часть... ту самую, где нищие на празднике.

Дон Хенаро отложил кий.

— Я уезжаю сегодня вечером, присоединяйтесь ко мне! — сказал он.

— Сегодня? — Донья Хулия обратила лицо к мужу, глаза опустила долу. — А зачем?

— За Лолитой! — в сердцах бросил он. — Надо привезти ее. Три-четыре сцены придется переснять.

— Как я рада! — воскликнула донья Хулия и зарылась лицом в пушистую шерсть мопсика. — Ой, как рада! Лолита придет! Поезжай за ней поскорей! Сил нет ждать.

— На вашем месте, — не оборачиваясь, бросил Кеннерли Степанов, даже не пытаясь скрыть своего раздражения, — я бы не беспокоился из-за цензоров — пусть их делают что хотят.

У Кеннерли даже челюсть отвалилась, дрожащим голосом он сказал:

— Вот так так! Кому и беспокоиться, как не мне. Что же у нас получится, если никто ни о чем не будет заботиться?

Десятью минутами позже мощный автомобиль дона Хе-

наро, с ревом промчавшись мимо бильярдной, понесся по темной безлюдной дороге к столице.

Поутру началось бегство в город, уезжали по одному — кто на поезде, кто на автомобиле.

— Оставайтесь, — говорили мне все по очереди, — мы завтра вернемся. Успенский поправится, съемки возобновятся.

Донья Хулия нежилась в постели. Днем я зашла к ней проститься. Сонная и томная, она свернулась клубочком, мопс прикорнул у нее на плече.

— Завтра вернется Лолита, значит, скучище конец, — сказала она. — Будут заново снимать самые хорошие сцены.

Но остаться в этом мертвящем воздухе хотя бы до завтра было свыше моих сил.

— Дней через десять наших мест не узнать, — сказал индеец, отвозивший меня на станцию, — вот бы вам когда приехать. Сейчас тут невесело. А тогда поспеет молодая кукуруза — то-то наедемся вдосталь!

## Передышка

В те времена, по молодости лет, я не могла справиться со всеми бедами, которые на меня обрушились. Теперь уже неважно, что это были за беды и как они в конце концов разрешились. Но тогда мне казалось — остается единственный выход: бежать от них без оглядки, хотя все семейные заповеди и все мое воспитание непреложно учили, что бежит только трус. Какой вздор! Им бы лучше научить меня другой науке — отличать храбрость от удалства, а ее-то как раз мне пришлось постигать самой. И я поняла в конце концов, что, если мне не изменит природный здравый смысл, от некоторых опасностей я предпочту удрать со всех ног при первом же сигнале их приближения. Однако история, которую я сейчас вам расскажу, произошла до того, как мне открылась вот такая великая истина: мы не бежим от наших кровных бед, и лучше узнать, чем они грозят нам, как можно раньше; но не бежать от всех прочих напастей — явная глупость.

Я поведала своей подруге Луизе, бывшей моей однокласснице и почти ровеснице, не о своих злосчастьях, а просто об одной заботе: я не знала, где отдохнуть во время весенних каникул, мне хотелось уехать совсем одной подальше от города, туда, где все просто и мило и, конечно же, недорого; только пусть Луиза никому не говорит, где я; ей-то я, разумеется, буду иногда писать, если она захочет да и если будет о чем. Луиза сказала, что обожает получать письма, но терпеть не может отвечать на них; и знает, куда мне надо поехать, и никому ничего не расскажет. Луиза обладала тогда — да обладает и сейчас — удивительным

даром: самые невероятные люди, места и события приобретали в ее устах привлекательность. Она рассказывала пре-забавные истории, но стоило вам случайно стать их свидетельницей, и они вдруг оборачивались самой мрачной своей стороной. Как эта вот история. Если хотите, все было точно так, как рассказывала Луиза, и, однако, совсем по-другому.

— Я знаю, куда тебе надо поехать, — сказала Луиза. — В глубине Техаса, в черноземном крае, живет патриархальная семья немецких фермеров; дом у них ведется по старинке, жить так постоянно было бы ужасно, а вот погостить у них очень приятно. Глава семейства — бородатый старец, сам господь бог; жена его — матриарх в мужских башмаках; бесчисленные дочери, сыновья, зятья; толстые младенцы копошатся под ногами; толстые щенки — моего любимца, черненького, звали Куно; коровы, телята, овцы, ягнята, козы, индюшки и цесарки бродят по зеленым нагорьям, в прудах — утки и гуси. Я была там летом, когда созрели персики и арбузы...

— Но сейчас конец марта, — робко заметила я.

— Весна приходит туда рано, — продолжала Луиза. — Я напишу о тебе Мюллерам, а ты собирайся.

— Так где же все-таки этот рай?

— Почти на границе с Луизианой, — сказала Луиза. — Я попрошу их поселить тебя в моей мансарде — там так прелестно! Большая комната под самой крышей с крутыми скатами — до самого пола — по обеим сторонам, когда идет дождь, крыша чуть-чуть протекает, и поэтому вся дранка на ней расписана упоительными черно-серо-зелеными разводами, а в углу комнаты — груда бульварных романов, «Герцогиня», Уйда, миссис Э. Д. Э. Н. Саутворт, стихи Эллы Уилер Уилкокс — как-то летом у них жила одна дама, большая любительница почитать, она-то и оставила им свою библиотеку. Ах, как было хорошо! Все вокруг такие здоровые и веселые, и погода стояла превосходная... А ты надолго?

Об этом я еще не думала и потому сказала наобум:

— На месяц.

Несколько дней спустя маленький грязный поезд дополз

до захолустной станции и выбросил меня, словно посылку, на мокрую платформу, начальник которой, едва высунув нос наружу, закрыл комнату для пассажиров, не дождав-шись, пока состав исчезнет за поворотом. Грузно топая ко мне, он запихивал за щеку катыш табака, осведомился мимоходом: — Вы куда?

— На ферму Мюллеров, — ответила я. Злой ветер пронизывал насквозь мое тонкое пальто, и я жалась к своей поклаже.

— Вас кто-нибудь встретит? — спросил он не останавливаясь.

— Да обещали.

— Хорошо. — Он взобрался на старенькую телегу, лошадь тронула, вихляя задом, и он был таков.

Я повернула набок свой сундучок, села на него — ветер хлещет в лицо, вокруг запустение, все тонет в грязи — и принялась за первое письмо Луизе. Я собиралась ей прежде всего написать, что, если ты не романы сочиняешь, нельзя давать волю своему пылкому воображению. В повседневной жизни, хотела написать я, надлежит придерживаться простых и ясных фактов. Потому что иначе происходят такие вот недоразумения. Я вошла уже во вкус своего послания, когда заметила крепкого парнишку лет двенадцати, пересекавшего платформу. Подойдя ко мне, он стащил с головы лохматую шапку и сгреб ее в толстый с грязными костяшками кулак. От холода его круглые щеки, круглый — картошкой — нос и круглый подбородок горели здоровым румянцем. На этом совершенно круглом лице, будто созданном с помощью циркуля, узкие, длинные, раскосые, ясные, как голубая вода, глаза выглядели так неуместно, что казалось — две силы противоборствовали, создавая его. Глаза были хороши, и все остальное не имело значения. Синяя шерстяная блуза, застегнутая до самого подбородка, обрывалась как-то внезапно у пояса, точно через полчаса он окончателно из нее вырастет, а синие спортивные брюки едва доходили до лодыжек. Старые крестьянские башмаки были на несколько размеров больше, чем нужно. Одним

словом, было ясно, что одежда на нем была с чужого плеча. Это веселое, невозмутимое явление возникло ниоткуда на неприбранной бурой земле под мрачным клочковатым небом, и все мое лицо, уже непослушное от холода и сырости, расплылось ему навстречу в радостной улыбке.

Он чуть улыбнулся в ответ, но не поднял глаз, подошел ко мне и взял мой багаж. Закинул сундучок себе на голову и припустился рысцой по неровной платформе и вниз, по осклизлым от грязи ступеням, а мне все казалось, что ноша раздавит его, как муравья — камень. Сундучок он размашисто забросил на фургон сзади, взял чемодан и метнул его туда же, потом влез сам по одному переднему колесу, а я вскарабкалась по другому.

Низкорослая лошаденка, косматая, точно медведь во время зимней спячки, нехотя двинулась рысью, мальчик нагнулся вперед, нахлобучил на глаза шапку, опустил поводья и погрузился в глубокое раздумье. Я изучала упряжь — в ней все было загадочно. Она держалась в самых неожиданных точках и болталась там, где как будто соединение было совершенно необходимо. В опасных местах ее связали на скорую руку обрывками растрепанной веревки. В других, как мне представлялось, совершенно несущественных, — намертво скрепили проволокой. Уздечка, чересчур длинная для приземистой лошаденки, когда мы тронулись, видно, выскочила у нее изо рта и теперь двигалась сама по себе, своим аллюром.

Наша повозка оказалась вышедшим в тираж образцом того, что — бог весть почему! — называлось рессорным фургоном. Никаких рессор тут не было и в помине, просто крытая платформа с низкими бортами для перевозки всякого добра; платформа настолько развалилась, что едва доходила до середины задних колес, а с одной стороны просела так, что постоянно царапала железный обод. Сами же колеса, поскольку ступицы в них не были прочно закреплены, не вращались однообразно, как им полагается, но описывали некое подобие эллипса, и мы продвигались вперед, вихляясь и раскачиваясь, точно развеселый пьяница или

утлая лодчонка на волнах бурного моря.

Бурые размокшие поля уходили вспять по обеим сторонам проселка, щетинясь подгнившей за зиму стерней, готовой кануть в небытие и снова обратиться в землю. Рядом по краю поля тянулись голые перелески. Сейчас они хороши были лишь тем, что предвещали весну, — мне претила их унылость, но было отрадно подумать, что где-то там, за ними, может открыться нечто иное, на самом деле прекрасное — прочерк реки, зажатой в своих берегах, поля в перевозданной наготе, уже вспаханные, готовые принять в себя семя. Дорога круто повернула и на мгновение почти исчезла, теперь мы ехали по лесу. Разглядев поближе корявые ветви, я поняла, что весна начинается как-то скупой и нехотой: бледно-зеленые воронки листьев, усыпавшие новые побеги, казались малюсенькими; снова зарядил ровный дождик, он обволакивал не молочным туманом, но дымкой, она сгущалась и оседала сплошной серой пеленой мелкого дождя.

Когда мы вынырнули из леса, мальчик распрямылся и молча показал вперед. Мы подъезжали к ферме по кромке ухоженного персикового сада, чуть подкрашенного молодой зеленью, но ничто не скрывало мучительно мрачного уродства самого фермерского дома. В техасской равнине, где невысокие взгорки плавно переходят в ложбины, в «стране холмов», как называют ее фермеры, дом был поставлен на самой лысой макушке, словно бы люди экономно выбрали для своего пристанища место, совершенно непригодное для землешаства. И стоял он там нагой, на виду у всего света незванным гостем, неприкаянным чужаком даже рядом со службами, толпящимися на его задворках, стоял, насупив низкие карнизы и будто окаменев от непогоды.

Узкие окна и крутой скат крыши привели меня в уныние; хотелось повернуться и уехать назад. Притащиться в такую даль и ради чего? — думала я; но и назад нельзя, потому что все же здесь не может быть тех мучений, от которых я бежала. Однако по мере того, как мы приближались к дому, теперь почти невидимому — только огонек светился



где-то сзади, должно быть, на кухне, — настроение мое менялось, и я снова ощутила тепло и нежность или, скорее, только предвестие, что я — кто знает? — снова смогу ощутить их.

Фургон подкатил к воротам, и я стала слезать. Но едва я поставила ногу на землю, как гигантский черный пес — отвратительная немецкая овчарка — молча прыгнул на меня, и я так же молча закрыла лицо руками и отпрянула назад.

— Куно, сидеть! — крикнул мальчик, кидаясь к нему.

Двери распахнулись, и молоденькая рыжеволосая девушка сбегала с крыльца и схватила жуткого зверя за шиворот.

— Он не со з л а , — сказала она серьезно. — Что с него взять — ведь собака.

Просто Луизин любимый щеночек Куно за год подрос, подумала я. Куно скулил, извиняясь, кланялся, рыл передней лапой землю, а девушка, продолжая держать его за шкуру, застенчиво и гордо говорила: — Я все учу его. У него всегда были дурные манеры, но я его учу.

Видимо, я приехала перед самым началом вечерних работ. Все мюллеровские домочадцы, мужчины и женщины, высыпали из дома, и каждый шел по какому-то неотложному делу. Девушка подвела меня к крыльцу и сказала: — Это мой брат Г а н с , — молодой человек приостановился, пожал мне руку и пошел д а л ь ш е . — Это мой брат Ф р и ц , — сказала она, и Фриц взял мою руку в свою, тотчас выпустил и тоже у ш е л . — Моя сестра А н н е т ь е , — сказала девушка, и молодая женщина с ребенком, которого она небрежно, наподобие шарфа, перекинула через плечо, улыбнулась и протянула мне руку. Так я жала одну за другой руки, молодые и старые, широкие и узкие, мужские и женские, но все это были твердые, добропорядочные крестьянские руки, теплые и сильные. И у всех, кто мне встретился, был тот же косой разрез светлых глаз и волосы цвета ячменного сахара — словно все они были братьями и сестрами, хотя мимо меня, поздоровавшись, прошли уже муж Аннетье и муж другой дочери. В тусклом свете просторной, с двумя дверями на-

против друг друга, передней, пропахшей мылом, я увидела старую мамашу Мюллер, она тоже приостановилась, чтобы пожать мне руку. Высокая, сильная женщина, повязанная треугольной шалью из черной шерсти, из-под подоткнутых юбок виднелась коричневой фланели нижняя юбка. Светлые, прозрачные глаза молодежь унаследовала явно не от нее. У мамыши Мюллер глаза были черные, наблюдательные, пытливые, волосы, судя по выглядывавшей из-под шали пряди, черные с проседью, смуглая, изборожденная морщинами кожа задубела, точно кора, и шагала мамаша Мюллер в своих резиновых башмаках размашистым шагом мужчины. На ходу пожав мне руку, она произнесла с сильным немецким акцентом: «Добро пожаловать» — и улыбнулась, показав почерневшие зубы.

— А это моя дочка Хэтси, она проводит вас в вашу комнату. — Хэтси взяла меня, словно малого ребенка, за руку. Я последовала за ней по крутой, как трап, лестнице, и вот мы уже в мансарде, в комнате Луизы, под крутыми скатами крыши. Да, дранка и в самом деле пестрела разноцветными пятнами. И бульварные романы были сложены в углу. В кои-то веки рассказ Луизы соответствовал действительности, все казалось знакомым, и я почувствовала себя по-домашнему.

— Мама говорит, мы могли бы дать вам комнату получше, но *она* написала, что вам понравится э т а , — сказала Хэтси, мягко и неясно произнося слова.

Я завершила — конечно же, мне нравится. Тут Хэтси спустилась вниз по крутой лестнице, и поднялся ее брат — он будто влезал на дерево: сундучок был у него на голове, а чемодан — в правой руке, я так и не поняла, почему сундучок не обрушился вниз — ведь на левую руку парнишка опирался. Я хотела предложить ему помощь, но побоялась его обидеть, заметив, с какой щеголеватой легкостью он бросал багаж на станции — сильный мужчина показывал свой номер перед слабосильными зрителями. Парнишка поставил ношу и выпрямился, повел плечами — он лишь слегка задохнулся. Я поблагодарила его; он сдвинул шапку на

затылок, а потом вернул ее на место — что я приняла за своего рода вежливый ответ — и затопал вниз. Когда через несколько минут я выглянула в окно, он уже шел через поле с зажженным фонарем и стальным капканом в руках.

Я стала переделывать свое письмо к Луизе: «Мне начинает здесь нравиться. Не совсем понимаю почему, но я прихожу в себя. Может быть, я смогу рассказать тебе потом...»

Звуки немецкой речи под окнами были мне приятны, потому что речь эта была обращена не ко мне и не предполагала ответа. Мои познания немецкого ограничивались тогда пятью маленькими убийственно сентиментальными песнями Гейне, которые я знала наизусть; но это был совершенно иной язык, нижненемецкий, испорченный тремя поколениями, прожившими на чужбине. В десятке миль отсюда, там, где Техас и Луизиана сливаются воедино в гниющей топи болот, подпочвенный пласт которых, разлагаясь, питает корни сосен и кедров, двести лет прожила в изгнании колония французских эмигрантов; они не сохранили в неприкосновенности весь свой обиход, но каким-то чудом остались верны главному: они упрямо говорили на своем старом французском языке, столь же чуждом современному французскому, сколь и английскому. Я провела там одно прекрасное долгое лето, познакомилась со многими такими вот семьями и сейчас, слушая другой язык, тоже не ведомый никому на свете, кроме этой маленькой сельской общины, вспомнила их и поняла, что снова попала в дом вечных изгнанников. Это были основательные, практичные, упрямые немецкие земледельцы, и куда бы ни забросила их судьба, они глубоко вонзали в землю свои мотыги и прочно укоренялись, потому что жизнь и земля были для них единым, нерасторжимым целым; но никогда, ни при каких обстоятельствах не смешивали они свою национальность с местом, где поселились.

Мне нравились их густые теплые голоса, и было так приятно не понимать, что они говорят. Я люблю эту тишину, она несет свободу от постоянного давления чужих умов, мнений и чувств, покой, возможность на воле собраться

с мыслями, вернуться к собственной сути, а это ведь всякий раз откровение — понять, что за существо в конечном счете мною правит и за меня решает, даже если кто-нибудь — хоть бы и я — мнит, будто решает сам; мало-помалу оно, это существо, отбросит все, кроме того единственного, без чего я не могу жить, и тогда заявит: «Я — все, что у тебя осталось, возьми меня». На время я прислушалась к приглушенным звукам незнакомого языка — он был музыкой безмолвия; подобно крику лягушек или шуму ветра, он мог тронуть, задеть, но не ранить.

Когда дерево катальпы под моим окном распустится, оно закроет вид на службы и дальше — на ширь полей, заметила я. А расцветши, ветви станут заглядывать в мое окно. Но сейчас они как тонкий экран, за которым пятнистые, рыжие с белым, телята беззаботно топчутся около потемневших от непогоды навесов. Бурные поля скоро опять зазеленеют; промытые дождями овцы стали пепельно-серыми. Вся прелесть пейзажа была сейчас в просторе долины, волнами откатывающейся к опушке леса. Как на всем, что не любо, на этой затерявшейся вдали от моря земле лежала печать заброшенности; зима в этой части юга — предсмертная мука, не то что северный смертельный сон — предвестник неперменного воскресения. А на моем юге, в моей любимой незабвенной стороне, стоит земле чуть пошевелиться после долгой болезни, открыть глаза между двумя вздохами — между ночью и д н е м , — и природа возрождается весенним взрывом, весной и летом сразу, цветами и плодами одновременно под сводом сверкающих синих небес.

Свежий ветер снова предвещал к вечеру тихий ровный дождик. Голоса внизу исчезли и опять возникли, теперь они доносились то со двора, то со стороны служб. По тропинке к коровнику тяжело ступала мамаша Мюллер, Хэтси бежала за нею следом. Старуха несла молочные бидоны с железными запорами на деревянном коромысле, перекинутом через плечо, дочь — в каждой руке по ведру. Стоило им отодвинуть кедровые брусья, как коровы, пригибаясь к земле, толпою ринулись с поля, а телята, жадно открывая рот,

поскакали каждый к своей матке. Потом началась баталия: голодных, но уже получивших свою скудную долю детенышей оттаскивали от материнского вымени. Старуха щедро раздавала им шлепки, а Хэтси тянула телят за веревки, и ноги ее развезжались в грязи, коровы мычали и грозно размахивали рогами, телята же орала как непослушные дети. Длинные золотистые косы Хэтси мотались по плечам, ее смех весело звенел над сердитым мычанием коров и хриплыми окриками старухи.

Снизу, от кухонного крыльца, доносился плеск воды, скрип насоса, мерные мужские шаги. Я сидела у окна и смотрела, как медленно наползает темнота и в доме постепенно зажигаются огни. У лампы в моей комнате на резервуаре для керосина была ручка, словно у чашки. На стене висел фонарь с матовым стеклом. Кто-то под самой моей лестницей звал меня, и я, глянув вниз, увидела смуглое лицо молодой женщины с льняными волосами; она была на сносях; цветущий годовалый мальчуган пристроился у нее на боку; женщина придерживала его одной рукой, другую же подняла над головой, и фонарь освещал их лица.

— Ужин готов, — сказала она и подождала, пока я спущусь.

В большой квадратной комнате все семейство собралось за длинным столом, покрытым простой скатертью в красную клетку; на обоих концах его сгрудились деревянные тарелки, доверху наполненные дымящейся пищей. Калека служанка, прихрамывая, расставляла кувшины с молоком. Голова ее пригнулась так низко, что лица почти не было видно, и все тело было как-то странно, до ужаса изуродовано — врожденная болезнь, подумала я, хотя она выглядела крепкой и выносливой. Ее узловатые руки непрерывно дрожали, голова тряслась под стать неугомонным локтям. Она поспешно ковыляла вокруг стола, разбрасывая тарелки, увертываясь от всех, кто стоял на ее пути; никто не посторонился, не дал ей дорогу, не заговорил с ней, никто даже не взглянул ей вслед, когда она скрылась на кухне.

Затем мужчины шагнули к своим стульям. Папаша Мюл-

лер занял патриаршее место во главе стола, мамаша Мюллер вырисовывалась за ним темной глыбой. Мужчины помоложе сидели с одной стороны, за женатыми, прислуживая им, стояли жены, ибо время, прожитое тремя поколениями на этой земле, не пробудило в женщинах самосознания, не изменило древних обычаев. Два зятя и три сына, прежде чем приступить к еде, опустили закатанные рукава. Только что вымытые лица их блестели, расстегнутые воротнички рубашек намокли.

Мамаша Мюллер указала на меня, затем обвела рукой всех домочадцев, быстро называя их имена. Я была чужой и гостьей, и потому меня посадили на мужской стороне стола, а незамужняя Хэтси, чье настоящее имя оказалось Хульда, была посажена на детской стороне и приглядывала за ребятишками, не давая им шалить. Детям было от двух до десяти лет, и их было пятеро — если не считать того, что за отцовым стулом оседлал бок матери, — и эти пятеро принадлежали двум замужним дочерям. Дети ели с волчьим аппетитом, поглощали все подряд, то и дело тянулись к сахарнице — им все хотелось подсластить; в полном упоении от еды, они не обращали никакого внимания на Хэтси, которая воевала с ними, пожалуй, не менее энергично, чем с телятами, и почти ничего не ела. Лет семнадцати, слишком худая, с бледными губами, Хэтси казалась даже хрупкой — может быть, из-за волос цвета сливочного масла, блестящих и будто в полоску — прядка посветлее, прядка потемнее, — типичных волос немецкой крестьянки. Но была у нее мюллеровская широкая кость и та чудовищная энергия, та животная сила, которая словно бы присутствовала здесь во плоти; глядя на скуластое лицо папаши Мюллера, на его светло-серые, глубоко посаженные желчные глаза, было легко проследить за этим столом семейное сходство; и становилось ясно, что ни один из детей бедной мамашы Мюллер не удался в нее — нет здесь ни одного черноглазого, отпрыска южной Германии. Да, она родила их — но и только; они принадлежат отцу. Даже у смуглой беременной Гретхен, явной любимицы семьи, с повадками балованного, лукаво-улыбчивого

ребенка и видом довольного, ленивого молодого животного, постоянно готового зевнуть, — даже у нее волосы были цвета топленого молока и все те же раскосые глаза. Сейчас она стояла, привалив ребенка к стулу своего мужа, и время от времени левой рукой доставала через его плечо тарелку и заново наполняла ее.

Старшая дочь, Аннетье, носила своего новорожденного младенца на плече, и он преспокойно пускал слюни за ее спиной, пока она накладывала мужу еду из разных тарелок и мисок. Порой взгляды супругов встречались, и тогда лица их озаряла мягкая улыбка, а в глазах светилось скрытое тепло — знак долгой и верной дружбы.

Папаша Мюллер не допускал и мысли, что его замужние и женатые дети могут покинуть дом. Женись, выходи замуж — пожалуйста; но разве это причина, чтобы отнять у него сына или дочь? У него всегда найдется работа и кров для зятя, а со временем — и для невесток. Аннетье, наклонившись над головой мужа, объяснила мне через стол, что к дому с северо-восточной стороны сделали пристройку для Хэтси: она будет жить там, когда выйдет замуж. Хэтси очень мило порозовела и уткнулась носом в тарелку, потом отважно вскинула голову и сказала: «Jan, jan \*, замуж, уже скоро!» Все засмеялись, кроме мамыши Мюллер, которая заметила по-немецки, что девушки никогда не ценят отчего дома — нет, им подавай мужей. Казалось; ее укор никого не обидел, и Гретхен сказала: очень приятно, что я буду у них на свадьбе. Тут Аннетье вспомнила и сказала по-английски, обращаясь ко всему столу, что лютеранский пастор посоветовал ей чаще бывать в церкви и посылать детей в воскресную школу, — а бог за это благословит ее пятого ребенка. Я снова пересчитала, и правда: с неродившимся ребенком Гретхен всего за столом детей до десяти лет оказалось восемь; несомненно, кому-то в этой компании понадобится благословение. Папаша Мюллер произнес короткую речь, обращаясь к своей дочери на немецком языке, потом повернулся ко мне и сказал:

\* Да, да, (искаж. нем.).

— Я говорю — сойти с ума ходить в церковь и платить священнику добрый деньги за его чепуха. Пускай он мне платит за то, что я пойти слушать, тогда я ходить. — И глаза его с внезапной свирепостью сверкнули над квадратной рыжей с проседью бородой, которая росла от самых скул. — Он, видно, думает так: мое время ничего не стоит? Ну ладно! Пускай сам мне платить!

Мамаша Мюллер неодобрительно фыркнула и зашаркала ногами.

— Ах, ты фсе такое гофоришь, гофоришь. Фот когда-нибудь пастор слушает и станет сильно сердитый. Что будем делать, если откажется крестить детей?

— Дай ему хороший деньги, он будет крестить, — крикнул папаша Мюллер. — Фот уфидишь.

— Ну, ферно, так и есть, — согласилась мамаша Мюллер. — Только лучше он не слышать!

Тут разразился шквал немецкой речи, ручки ножей застучали по столу. Я уж и не пыталась разобрать слова, только наблюдала за лицами. Это выглядело жарким боем, но в чем-то они соглашались. Они были едины в своем родовом скептицизме, как и во всем прочем. И меня вдруг осенило, что все они, включая зятя ев, — один человек, только в разных обличьях. Калека служанка внесла еще еду, собрала тарелки и, прихрамывая, выбежала вон; мне казалось, в этом доме она — единственная цельная личность. Ведь и я сама чувствовала, что расчленена на множество кусков, я оставляла или теряла частицы себя в каждом месте, куда приезжала, в каждой жизни, с которой соприкоснулась, а тем более со смертью каждого близкого, уносившего в могилу толику моего существа. А вот служанка — эта была цельной, она существовала сама по себе.

Я с легкостью пристроилась где-то на обочине мюллеровского обихода. День Мюллеров начинался очень рано, завтракали при желтоватом свете лампы, и серый влажный ветер по-весеннему мягко веял в открытые окна. Мужчины проглатывали последнюю чашку дымящегося кофе уже стоя



в шляпах, запрягали лошадей и на заре выезжали в поле. Аннетье, перекинув толстого младенца через плечо, ухитрилась одной рукой подмести комнату или убрать постель; день не успевал еще заняться, а она, бывало, уже со всем по дому управилась и идет во двор ухаживать за курами и поросятами. Но то и дело возвращается с корзиной только что вылупившихся цыплят — жалких комочков мокрого пуха, — кладет их на стол у себя в спальне и весь первый день их жизни с ними нянчится. Мамаша Мюллер гигантской горой передвигалась по дому, отдавая распоряжения направо и налево; папаша Мюллер, оглаживая бороду, зажигал трубку и отправлялся в город, а вдогонку ему неслись напутствия и наставления мамыши Мюллер касательно домашних нужд. Он будто и не слышал их, во всяком случае, не подавал виду, но когда через несколько часов возвращался, выяснялось, что все поручения и распоряжения выполнены в точности.

Я стелила постель, убирала мансарду, и тут оказывалось, что делать мне совершенно нечего, и тогда, чувствуя свою полную бесполезность, я скрывалась от этой вдохновенной суеты и шла на прогулку. Но покой, почти мистическая неподвижность мышления этого семейства при напряженной физической работе мало-помалу передавались мне, и я с молчаливой благодарностью чувствовала, как скрытые болезненные узлы моего сознания начинают расслабляться. Было легче дышать, я могла даже поплакать. Впрочем, через несколько дней мне уже и не хотелось плакать.

Как-то утром я увидела, что Хэтси вскапывает огород, и предложила помочь ей засеять грядки; Хэтси согласилась. Каждое утро мы работали на огороде по несколько часов, и я, согнувши спину, жарилась на солнце до тех пор, пока не начинала приятно кружиться голова. Дни я уже не считала, они были все на одно лицо, только с приходом весны менялись краски да земля под ногами становилась прочнее — это выпирали наружу набухшие сплетения корней.

Дети, такие шумные за столом, во дворе вели себя смирно, с головой уйдя в игры. Вечно они месили глину и лепили

караваи и пирожки, проделывали со своими истрепанными куклами и изодранными тряпичными зверями все, что положено в жизни. Кормили их, укладывали спать, потом будили и кормили снова, приобщали к домашней работе и стряпали вместе с ними новые караваи из глины; или впрягались в свои тележки и галопом неслись за дом, под сень каштана. Тогда дерево становилось «Турнферайном» \*, а они снова превращались в людей: важно семенили в танце, запрокидывая воображаемые кружки, пили пиво. И вдруг, чудом снова обернувшись лошадьми, впрягались в тележки и неслись домой. Когда их звали к столу или спать, они шли так же послушно, как их куклы и тряпичные звери. А матери опекали их с бессознательной терпеливой нежностью. С истовой преданностью кошек своим котяткам.

Иногда я брала предпоследнего — двухлетнего — младенца Аннетье и везла его в коляске через сад, ветви которого покрылись бледно-зелеными побегам, и немного дальше по проулку. Потом я сворачивала на другую, более узкую аллею, где было меньше колдобин, и мы медленно двигались между двумя рядами тутовых деревьев, с которых уже свисало что-то вроде волосатых зеленых гусениц. Ребенок сидел, укутанный во фланель и пестрый ситец, его раскосые голубые глаза сияли из-под чепца, а лучезарная улыбка обнаруживала два нижних зуба. Иногда другие дети тихо шли за нами. Когда я поворачивала назад, они тоже послушно поворачивали, и мы возвращались к дому так же степенно, как пускались в путь.

Узкая аллея, оказалось, вела к реке, и мне нравилось гулять здесь. Почти каждый день я шла по опушке голого леса, жадно высматривая признаки весны. Как ни малы, как ни постепенны были перемены, а все же однажды я заметила, что ветви ивы и ежевичные побеги разом покрылись мелкими зелеными точечками; за одну ночь — или мне так показалось? — они стали другого цвета, и я знала, что назавтра вся долина, и лес, и берег реки мгновенно оперятся золотом и зеленью, струящейся под весенним ветерком.

\* Турнферайн — гимнастический союз, гимнастическое общество (нем.).

Так оно и случилось. В тот день я задержалась на речке до темноты и шла домой по болотам; совы и козодои кричали у меня над головой странным нестройным хором, и где-то далеко-далеко им отвечало смутное эхо. В саду все деревья расцвели светлячками. Я остановилась и, пораженная, долго любовалась ими, потом медленно двинулась дальше — ничего прекраснее мне никогда не приходилось видеть. Деревья только что зацвели, и под тонким покровом ночи на неподвижных ветвях гроздя цветов дрожали в беззвучном танце слегка раскачивающегося света, кружились воздушно, как листья под легким ветерком, и размеренно, как вода в фонтане. Каждое дерево расцвело этими живыми пульсирующими огоньками, неверными и холодными, точно пузырьки на воде. Когда я открывала калитку, руки мои тоже светились отблесками фосфорического сияния. Я обернулась — золотистое мерцание не исчезло, это не был сон.

В столовой Хэтси на коленях мыла тяжелой тряпкой пол. Она всегда его мыла поздно вечером, чтобы мужчины своими тяжелыми сапогами не наследили и утром пол был безукоризненно чистым. Повернув ко мне молодое, оцепеневшее от усталости лицо, она громко позвала: — Оттилия! Оттилия! — и не успела я открыть рот, как она сказала: — Оттилия покормит вас ужином. Все готово, ждет в а с . — Я попыталась возразить, что не голодна, но она настаивала: — Нужно есть. Немного раньше, немного позже — не бе да . — Она села на корточки и, подняв голову, глянула за окно, в сад. Улыбнулась, помолчала и сказала весело: — Вот и весна пришла. У нас каждую весну так бы в а е т . — И снова нагнулась, окуная тряпку в большое ведро с водой.

Калека служанка, едва не падая на скользком полу, принесла мне тарелку чечевицы с сосисками и рубленую красную капусту. Все было горячее, вкусное, и я взглянула на нее с искренней благодарностью — оказывается, я проголодалась. Так, значит, ее зовут Оттилия? Я сказала: — Спасибо! — Она не может говорить. — Хэтси сообщила об этом как о чем-то обыденном. Измятое темное лицо Оттилии не было ни старым, ни молодым, просто его вдоль и поперек борозди-

ли морщины, не имеющие отношения ни к возрасту, ни к страданиям; обыкновенные морщины, бесформенные, потемневшие — словно брэнную плоть скомкал безжалостный кулак. Но и на этом изуродованном лице я увидела те же выступающие скулы и косую прорезь бледно-голубых глаз; зрачки были огромные, напряженно-тревожные, будто она заглядывала в пугающую тьму. Поворачиваясь, Оттилия сильно ударилась о стол, ее иссохшие руки ходили ходуном, согнутая спина дрожала — и с бессмысленной поспешностью, словно за ней гнались, бросилась вон из комнаты.

Хэтси снова приподнялась с колен, откинула назад косы и сказала:

— Вот такая у нас Оттилия. Теперь она уже не больна. Она такая, потому что маленькой очень болела. Но работать она может не хуже меня. Она стряпает. Только говорить понятно не умеет.

Хэтси встала на колени, согнулась и опять принялась усердно тереть пол. Вся она была словно сплетение тонких, туго натянутых связок и прочных, точно гибкая сталь, мышц. Она весь свой век будет работать до седьмого пота, и ей даже в голову не придет, что можно жить иначе; ведь все вокруг всегда работают, потому что впереди еще уйма дел. Я поужинала, отнесла тарелку и поставила на стол в кухне. Оттилия сидела на табурете, сунув ноги в открытую топку погасшей печки; руки у нее были сложены на груди, голова покачивалась. Она не видела и не слышала, как я вошла.

Дома Хэтси обычно носила старенькое коричневого вельвета платье и галоши на босу ногу. Из-под коротких юбок виднелись худые кривоватые ноги — словно бы она начала ходить чересчур рано. «Хэтси славная, проворная девочка», — говорила мамаша Мюллер, а мамаша Мюллер была скупа на похвалу. По субботам Хэтси основательно мылась. В чулане за кухней, где были сложены лишние ночные горшки, грязные банки и кувшины, стояла большая ванна. Помывшись, она расплетала свои золотистые косы, схватывала кудель волос венком розовых матерчатых роз, надевала

голубое крепдешинное платье и отправлялась в «Турнферайн» — потанцевать и выпить темно-коричневого пива со своим женихом, который мог вполне сойти ей за брата — так похож он был на ее братьев, хотя, вероятно, никто, кроме меня, этого не замечал, а я промолчала, не рискуя прослыть безнадежно чужой. По воскресеньям же Мюллеры, как следует вымывшись, облачались в крахмальные платья и рубахи, нагружали повозки корзинами с провиантом и всем семейством отправлялись в «Турнферайн». Когда они отъезжали, на порог выскакивала служанка Оттилия; она прижимала согнутые в локтях трясущиеся руки ко лбу, заслоняя от света больные глаза, и стояла так, пока повозка не сворачивала за угол. Казалось, она совсем немая: с ней нельзя было объясниться даже знаками. Но по три раза на дню она уставляла огромный стол обильной снедью: свежеепеченный хлеб, громадные блюда с овощами, непомерные куски жареного мяса, невероятные торты, струдели и пирожки, — вдоволь на двадцать человек. Если под вечер или в праздник заглядывали соседи, Оттилия ковыляла в большую комнату, выходящую на север — гостиную с мелодилоном из золотистого дуба, пронзительно-зеленым брюссельским ковром, занавесками из ноттингемских кружев и кружевными салфетками на спинках кресел, — и подавала им сладкий кофе со сливками и большие ломти желтого кекса.

Мамаша Мюллер сидела в гостиной очень редко, и всякий раз было видно, что ей не по себе, — держалась она чопорно, узловатые пальцы были судорожно сцеплены. Зато папаша Мюллер вечерами саживал в гостиной частенько, и тут уж никто не решался нарушить без приглашения его одиночества; иногда он играл здесь в шахматы со своим старшим зятем, который, давно поняв, что папаша Мюллер хороший игрок и терпеть не может легкой победы, отваживался на самое отчаянное сопротивление; и все равно, если папаше Мюллеру казалось, что его выигрыши следуют чересчур часто, он рычал: «Ты не стараешься! Ты можешь играть лучше. И вообще, хватит этой ерунды!» — после чего

зять временно впадал в немилость.

Но чаще всего вечера папаша Мюллер проводил в одиночестве за чтением «Das Kapital» \*. Он глубоко усаживался в плюшевом кресле-качалке, а книгу клал перед собой на низком столике. То было раннее, типично немецкое дешевое издание в черном запятнанном и вытертом кожаном переплете, потрепанные страницы вываливались — настоящая Библия. Он знал целые главы книги почти наизусть, затвердил от первой до последней строки изначальный, подлинный текст. Не могу сказать, что я совсем не слышала о «Das Kapital», — просто в ту пору среди моих знакомых не было человека, читавшего эту книгу, и однако если кто и упоминал о ней, то весьма неодобрительно. Она не принадлежала в нашей среде к числу книг, которые читают, прежде чем их отвергнуть. И вот теперь передо мной был уважаемый старый фермер, принимавший ее догмат как религию, — иначе говоря, для него эти легендарные заповеди — нечто должное, справедливое, правильное, в них, конечно же, следует верить, ну а жизнь, повседневная жизнь — дело другое, она шла своим чередом. Папаша Мюллер был самым богатым фермером в своей общине, почти все соседние фермеры арендовали у него землю и некоторые обрабатывали ее на паях. Он объяснил мне это однажды вечером, бросив безнадежные попытки научить меня играть в шахматы. Он не удивился, что у меня не получилось с шахматами — во всяком случае, что я не научилась за один урок, не удивился и тому, что я ничего не знала о «Das Kapital». Про свои хозяйственные дела он объяснил мне так:

— Эти люди не могут купить себе землю. Землю надо покупать, потому что ею завладел Kapital, и Kapital не отдаст ее назад работнику. Ну вот, а я, выходит, всегда могу купить землю. Почему? Сам не знаю. Знаю только, что получил в первый же раз хороший урожай и мог прикупить еще земли, и вот сдал ее в аренду дешево, дешевле, чем другие, и дал деньги займы соседям, чтобы соседи не попали в руки банка, поэтому я не есть Kapital. Когда-нибудь эти работники

\* «Капитал» (нем.).

смогут купить у меня землю задешево, так дешево им больше нигде не купить. Вот это я могу сделать — и больше ничего. — Он перевернул страницу и сердитыми серыми глазами поглядел на меня из-под косматых бровей. — Я заработал свою землю тяжелым трудом и сдаю ее в аренду соседям по дешевке, а потом они говорят, что не выберут моего зятя, мужа моей Аннетье, шерифом, потому что я — атеист. Тогда я говорю — ладно, но на будущий год вы заплатите мне дороже за землю или отдадите больше зерна. Если я атеист, я буду и поступать как атеист. Теперь муж моей Аннетье — шериф, вот, и больше ничего.

Он ткнул толстым пальцем в то место, где кончил, и погрузился в чтение, а я потихоньку вышла, даже не пожелав ему спокойной ночи.

«Турнферайн» был восьмиугольным павильоном и стоял на расчищенной площадке одного из лесных угодий папаша Мюллера. Немецкая колония собиралась здесь посидеть в холодке, а духовой оркестрик тем временем наяривал разудалые сельские танцы. Девушки плясали увлеченно и старательно, их накрахмаленные юбки шуршали наподобие сухих листьев. Молодые люди были скорее неуклюжи, зато усердны; они стискивали талии своих дам, отчего на платьях оставались следы потных рук. В «Турнферайне» мамаша Мюллер отдыхала после многотрудной недели. Расслабив усталые руки и ноги, широко расставив колени, она болтала за кружкой пива со своими сверстницами. Тут же играли дети, за ними надо было присматривать, чтобы молодые матери могли вволю потанцевать или спокойно посидеть с подружками.

На другой стороне павильона восседал папаша Мюллер, окруженный невозмутимыми старцами; размахивая длинными изогнутыми трубками, они солидарно беседовали о местной политике, и их суровый крестьянский фатализм лишь отчасти смягчался трезвым житейским недоверием ко всем должностным лицам, с которыми сами они не были знакомы, и ко всем политическим планам, исключая их

собственные. Они слушали папашу Мюллера с уважением — он был сильной личностью, главою дома и общины, и они в него верили. Всякий раз, как он вынимал изо рта трубку и держал ее за головку, будто камень, который намеревался бросить, они неспешно кивали. Как-то вечером по дороге из «Турнферайна» мамаша Мюллер мне сказала:

— Ну вот, слава богу, Хэтси и ее парень обо всем договорились. В следующее воскресенье об эту пору они поженятся.

Все постоянные посетители «Турнферайна» в то воскресенье явились в мюллеровский дом на свадьбу. Подарки принесли полезные — по большей части льняные простыни, наволочки, белое вязаное покрывало и кое-что для украшения свадебных покоев: круглый и пестрый домотканый коврик, лампу с латунным корпусом и розовым стеклом, расписанным розами, фаянсовый тазик и кувшин для умывания, тоже весь в красных розах; а жених подарил невесте ожерелье — двойную нитку красных кораллов. Перед самой церемонией он дрожащими руками надел ожерелье на шею невесты. Она подняла голову, чуть улыбнулась ему и помогла отцепить веточку коралла от своей короткой фаты, потом они взялись за руки, повернулись к пастору и так застыли, пока не пришло время обменяться кольцами — самыми широкими на свете обручальными кольцами, самыми толстыми, из самого красного золота, — тут они оба разом перестали улыбаться и немного побледнели. Жених первым пришел в себя, нагнулся — он был много выше невесты — и поцеловал ее в лоб. У него были синие глаза и волосы не в мюллеровскую породу — каштановые, а не цвета ячменного сахара; красивый тихий парнишка, решила я, и на Хэтси глядит с удовольствием. Жених и невеста преклонили колена и сложили руки для последней молитвы, потом встали и обменялись свадебным поцелуем, очень целомудренным и сдержанным поцелуем — пока еще не в губы. Затем все двинулись пожимать им руки, и мужчины целовали невесту, а женщины — жениха. Женщины шептали что-то на ухо Хэтси, и при этом прыскали, а Хэтси заливалась



краской. Она тоже шепнула что-то своему мужу, и он согласно кивнул. Потом Хэтси попыталась незаметно ускользнуть, но сторожкие девицы — за ней, и вот она уже бежит через цветущий сад, подхватив свои пышные белые юбки, а все девицы гонятся за ней с визгом и криками, словно ярые охотники, потому что та, которая первая нагонит невесту и дотронется до нее, следующей выйдет замуж. Возвращаются, с трудом переводя дух, и тянут за собой счастливицу, а она, смеясь, упирается, и все парни целуют ее.

Гости остались на обильный ужин, и тут появилась Оттилия в новом синем фартуке, морщины у нее на лбу и вокруг бесформенного рта блестели бусинками пота; она расставила на столе еду. Вначале поели мужчины, и тогда вошла Хэтси — первый раз она шла во главе женщин, хотя квадратная паутинка белой фаты, украшенная цветами персика, все еще стягивала ее волосы. После ужина одна из девушек играла на мелодисте вальсы и польки, а все остальные танцевали. Жених то и дело таскал пиво из бочки, установленной в передней, а в полночь все разошлись, взволнованные и счастливые. Я спустилась в кухню налить в кувшин горячей воды. Служанка, ковыляя между столом и буфетом, наводила порядок. Ее темное лицо дышало тревогой, глаза изумленно округлились. Неверные руки с грохотом двигали кастрюли и миски, и все равно она словно была нереальна, все вокруг было чуждо ей. Но когда я поставила свой кувшин на плиту, она подняла тяжелый чайник и налила в него обжигающую воду, не пролив ни капли.

Утреннее небо, ясное, медвяно-зеленое, было зеркалом сверкающей земли. На опушке леса высыпали какие-то скромные беленькие и голубенькие цветочки. Пышными розово-белыми букетами стояли персиковые деревья. Я вышла из дому, намереваясь кратчайшим путем пройти к тутовой аллейке. Женщины хлопотали по дому, мужчины были в полях, скот — на пастбище, я увидела только Оттилию, на ступеньках заднего крыльца она чистила картошку. Оттилия поглядела в мою сторону — невидящие глаза ее остано-

лись на полпути между нами, — но не сделала мне никакого знака. И вдруг бросила нож, встала, несколько раз открыла рот, пошевелила правой рукой и как-то вся устремилась ко мне. Я подошла к ней, она вытянула руки, схватила меня за рукав, и на мгновение я с испугом подумала, что сейчас услышу ее голос. Но она молча тянула меня за собой, сосредоточенная на какой-то своей таинственной цели. Отворила дверь рядом с чуланом, где мылась Хэтси, и ввела меня из кухни в грязную, затхлую каморку без окон. Тут только и помещались что узкая бугристая койка да комод с кривым зеркалом. Оттилия выдвинула верхний ящик и стала перерывать всякий хлам, она непрерывно шевелила губами, тщетно пытаясь заговорить. Наконец вытащила фотографию и сунула мне. Это была старомодная выцветшая до бурой желтизны фотография, старательно наклеенная на картон с золотым обрезом.

С фотографии мило улыбался истинно немецкий ребенок — девочка лет пяти, удивительно похожая на двухлетнюю дочку Аннетье — совсем как ее старшая сестренка; на девочке было платье с оборками, копна светлых кудрей, собранных на макушке, изображала прическу под названием «гривка». Крепкие ноги, круглые, как сосиски, обутые в черные на мягкой подошве старомодные зашнурованные ботинки, обтянуты белыми в резинку чулками. Оттилия уставилась куда-то поверх фотографии, потом, с трудом вывернув шею, взглянула на меня. И я снова увидела косой разрез прозрачно-голубых глаз и скуластое мюллеровское лицо, изувеченное, почти разрушенное, но мюллеровское. Так вот какой когда-то была Оттилия; ну конечно, она — старшая сестра Аннетье, и Гретхен, и Хэтси; безмолвно, горячо Оттилия настаивала на этом — она похлопывала то фотографию, то свое лицо и отчаянно силилась что-то произнести. Потом указала на имя, аккуратно выведенное на обороте карточки — *Оттилия*, и дотронулась скрюченными пальцами до рта. Ее качающаяся голова непрерывно кивала; трясающаяся рука шлепком, будто в кошмарном фарсе, придвигала ко мне фотографию. Этот кусочек картона разом

связал ее со знакомым мне миром; вмиг какая-то ниточка, легче паутинки, протянулась между жизненными центрами — ее и моим, ниточка, что привязывает нас к общему неизбывному источнику, и моя жизнь и ее жизнь оказались в родстве, нераздельны, и мне уже не было страшно смотреть на нее, она больше не казалась мне чужой. Она твердо знала, что когда-то была другой Оттилией и у нее были крепкие ноги и зоркие глаза, и внутренне она оставалась той, прежней Оттилией. Она была жива и потому на мгновение поняла, что страдает, — безмолвно зарыдала, дрожа и размазывая ладонью слезы. И лицо ее, мокрое от слез, изменилось. Глаза прояснились, вглядываясь туда, где, чудилось ей, крылось ее необъяснимое тяжкое горе. Вдруг, будто услышав зов, она повернулась и торопливо заковыляла своей шаткой походкой на кухню, так и не задвинув ящик, а перевернутая фотография осталась на комод.

Полдник она подавала поспешно, расплескивая кофе на белом полу, снова уйдя в это состояние постоянного изумления, и опять я стала для нее чужой, как и все остальные, но она-то больше мне не чужая и никогда мне чужой не станет.

Вошел младший Мюллер с опоссумом, которого вынул из своего капкана. Он размахивал пушистой тушкой искалеченного зверька, и глаза его сузились от законной гордости.

— Нет, все-таки это жестоко, даже когда попадает дикий зверь, — сказала добрая Аннетье, — но мальчишки любят убивать, они любят причинять боль. Из-за этого капкана я всегда боюсь за бедного Куно.

Я про себя подумала, что противный Куно смахивает на волка и пострашнее всякого капкана. Аннетье была исполнена тихой, нежной заботливости. Под ее особым покровительством были котята, щенята, цыплята, ягнята и телята. Она единственная из всех женщин ласкала телят-отъемышей, когда ставила перед ними кастрюлю с молоком. Ее ребенок казался частью ее самой — будто еще и не родился. И однако, даже она позабыла, что Оттилия — ее сестра. И все остальные тоже. Когда Хэтси произнесла имя Отти-

лии, она не сказала мне, что это ее сестра. Значит, вот почему об этом молчат — просто-напросто позабыли. Она жила среди них незримо, как тень. Их сестра Оттилия была давней преодоленной и позабытой болью; они не могли дальше жить с памятью об этой боли или с ее видимым напоминанием — и забыли о ней просто из чувства самосохранения. Но я — я не могла ее забыть. Ее занесло в мою память, как прибывает течением водоросли, и она зацепилась, застряла там на плаву и не желала двигаться дальше. Я размышляла: а что еще могли поделаться Мюллеры с Оттилией? Несчастный случай в детстве лишил ее всего, кроме физического существования. Они не принадлежали к обществу или классу, которые нянчатся со своими больными и увечными. Пока человек жив, он должен вносить свою лепту в общий труд. Тут ее дом, в этой семье она родилась и здесь должна умереть; страдала ли она? Об этом никто не спрашивал, этого никто не пытался выяснить. Страдание несла сама жизнь — страдание и тяжкую работу. Пока человек жив, он работает, вот и все, и нечего жаловаться, потому что ни у кого нет времени выслушивать жалобы, у всех хватает своих бед. Так что же еще могли Мюллеры поделаться с Оттилией? Ну, а я — я ведь тоже могла лишь пообещать себе о ней забыть; и помнить ее до конца моих дней.

Сидя за длинным столом, я буду смотреть, как Оттилия в мучительной спешке, громыхая посудой, без конца таскает блюдо за блюдом; ведь в этом труде — вся ее жизнь. Мысленно последую за ней на кухню и увижу, как она заглядывает в огромные кипящие чаны, в заставленную кастрюлями духовку, а собственное тело для нее — орудие пыток. И на поверхность моего сознания всплывет настойчиво, ясно, словно подгоняя время к желанному событию: пусть это случится сейчас же, прямо сейчас. Даже не завтра, нет, сегодня. Пусть она сядет спокойно у печки на своем шатком табурете и сложит руки, а голова ее упадет на колени. Она отдохнет тогда. Я буду ждать и надеяться — может, она не войдет больше, никогда больше не войдет в эту дверь, на которую я смотрела с таким содроганием, словно не

вынесу того, что оттуда вот-вот появится. Потом появлялась она, и в конце концов это была всего лишь Оттилия в лоне своей семьи — один из самых полезных членов этой семьи, ее полноправный член; глубокое и верное чутье подсказало Мюллерам, как жить с этим несчастьем, как принять его условия — ее условия; они приняли эти условия, а потом обратили их себе на пользу — ведь это было для них всего лишь еще одним несчастьем в мире, полном бед, подчас более тяжких. Так, шаг за шагом, я пыталась, насколько это возможно, понять их отношение к Оттилии и какую пользу извлекли они из ее ж и з н и , — ибо до некоторой степени, сама не знаю почему, увидела великую добродетель и мужество в их непреклонности и нежелании сострадать кому бы то ни было — прежде всего самим себе.

Гретхен родила сына вечером, в очень удобное время — уже отужинали, но еще не ложились спать, — под дружеский, уютный шепот дождя. На следующий день понаехали женщины со всей округи, ребенка передавали из рук в руки, точно мяч в новой игре. Степенные и застенчивые на танцах, взволнованные на свадьбах, здесь, на родинах, они обнаружили вкус к веселым непристойностям. За кофе и пивом разговор стал поглубже, добродушные гортанные звуки утонули во чреве смеха; этим честным, работающим женам и мамашам на несколько часов жизнь показалась игривой грубоватой шуткой, вот они и радовались. Ребенок вопил и сосал грудь, как новорожденный телок; вошла мужская половина родни — взглянуть на младенца — и добавила свою порцию веселых скабрезностей.

Ненастье до срока разогнало гостей по домам. Небо исчертили дымно-черные и серые полосы тумана, клочковатые, как сажа в трубе. Тусклым багрянцем зарделись опушки лесов, горизонт медленно покраснел, потом поблек, и по всему небосводу прокатилось угрожающее ворчание грома. Мюллеры поспешно натягивали резиновые сапоги и клеенчатые комбинезоны, перекликались, составляя план действий. Из-за холма появился младший Мюллер с Куно, собака

помогала ему загонять овец в овчарню. Куно лаял, овцы блеяли на все лады, выпряженные из плугов лошади ржали, прижимая уши, метались на привязи. Отчаянно мычали коровы; им вторили телята. Люди высыпали на улицу, смешались с животными — чтобы окружить их, успокоить и загнать в хлев. Мамаша Мюллер в полудюжине нижних юбок, подоткнутых на бедрах и сунутых в высокие сапоги, вышагивала за всеми к скотному двору, когда громада несущихся облаков, расколота ударом молнии, разверзлась из конца в конец и ливень обрушился на дом, как волна на корабль. Ветер выбил стекла, и потоки воды хлынули в дом. Казалось, балки не выдержали нагрузки и стены вогнуло внутрь, но дом устоял. Детей собрали в спальне, в глубине дома, под крылом Гретхен.

— Ну, идите ко мне сюда, на кровать, — говорила она, — и будьте умниками.

Она сидела, закутавшись в шаль, и кормила грудью младенца. Появилась Аннетье и тоже оставила своего младенца Гретхен; потом вышла на крыльцо, ухватилась одной рукой за перила, опустила другую в свирепый поток, дошедший уже до порога, и вытащила тонущего ягненка. Я последовала за ней. Из-за раскатов грома мы не слышали друг друга, но вместе отнесли несчастного ягненка в переднюю под лестницу, вытерли намокшую шерсть тряпьем, откачали его и, наконец, положили на подогнутые ножки. Аннетье была в восторге и радостно повторяла: «Посмотрите, он жив, жив!»

Но тут раздались громкие мужские голоса, стук в кухонную дверь, мы бросили ягненка и побежали открывать. Ввалились мужчины, и среди них — мамаша Мюллер, она несла на коромысле молочные ведра. Вода лилась ручьями с ее многочисленных юбок, капала с черной клеенчатой косынки, резиновые сапоги под тяжестью заткнутых в них нижних юбок собрались гармошкой. Папаша Мюллер стоял рядом, с его бороды, с клеенчатой одежды тоже стекала вода; они были похожи на искривленные, разбитые молнией вековые деревья, а потемневшие лица их казались такими старыми

и усталыми, что было ясно: эта усталость уже навсегда; им не отдохнуть до конца своих дней.

— Пойди переоденься! Ты что, захворать хочешь? — заорал вдруг папаша Мюллер.

— Л а д н о , — отмахнулась она, сняла коромысла и поставила на пол ведра с молоком. — Пойди сам переоденься. Я принесу тебе сухие носки. — Один из ее сыновей рассказал мне, что она втащила новорожденного телка вверх по лестнице на сеновал и надежно отгородила его тюками. Потом поставила в стойла коров и, хотя вода продолжала подниматься, подоила их. Будто ничего не замечала. — Хэтси, — позвала она, — поди помоги мне с молоком. — Маленькая бледная Хэтси, босая — потому что как раз в это время снимала мокрые ботинки, — прибежала, пепельные косы прыгают по плечам. Ее молодой муж, явно робевший перед тещей, шел следом.

— Давай я! — Он попытался помочь любимой жене поднять тяжелые молочные ведра.

— Нет! — прикрикнула мамаша Мюллер, да так, что бедняга прямо подскочил. — Не трогай. Молоко — не мужское дело. — Он попятился и застыл, глядя, как Хэтси переливает молоко в кастрюли; с его сапог текла грязь. Мамаша Мюллер пошла было за мужем, но в дверях обернулась и спросила: — Где Оттилия? — Никто не знал, никто ее не видел. — Найдите ее, — велела мамаша Мюллер уходя. — Скажите, что мы хотим сейчас ужинать.

Хэтси поманила мужа, они на цыпочках подошли к комнате Оттилии и тихо приоткрыли дверь. Отсвет кухонной лампы упал на одинокую фигуру Оттилии, примостившуюся на краю кровати. Хэтси широко распахнула дверь, впусив яркий свет, и пронзительно, словно глухому, крикнула: — Оттилия! Время ужинать! Мы голодные! — И молодая чета отправилась поглядеть, как себя чувствует ягненок Аннетье. Потом Аннетье, Хэтси и я, вооружась метлами, стали выметать грязную воду с осколками стекла из передней и столовой.

Буря постепенно стихла, но ливень не прекращался. За ужином разговаривали о том, что погибло много скота и надо

купить новый. И сеять надо заново, все пропало. Усталые и промокшие, Мюллеры все же ели с аппетитом, не спеша, чтобы набраться сил и завтра с рассвета снова все чинить и налаживать.

К утру барабанная дробь по крыше почти прекратилась; из своего окна я видела коричневатую гладь воды, медленно отступавшую к долине. У скотных дворов прогнулись крыши, и они напоминали палатки; утонувший скот всплыл, приблизился к изгородям. За завтраком мамаша Мюллер стонала: — Ох, до чего же болит голова! И вот здесь то же. — Она ударила себя по груди. — Везде. Ah, Gott\*, я заболела. — Щеки у нее пылали, тяжело дыша, она встала из-за стола и кликнула Хэтси и Аннетье помочь ей подоить коров.

Они вернулись очень скоро, путаясь в прилипших к коленям юбках; сестры поддерживали мать — у нее отнялся язык, и она едва держалась на ногах. Ее уложили в постель, она лежала неподвижная, багровая. Наступило смятение, никто не знал, что делать. Они укутали ее стегаными одеялами — она их сбросила. Предложили ей кофе, холодной воды, пива — она отвернулась. Пришли сыновья, встали у ее постели и присоединились к причитаниям: — Mutterchen, Mutti, Mutti\*\*, как тебе помочь? Скажи, чего ты хочешь? — Но она не могла сказать. До врача было двенадцать миль — не доехать: все мосты и изгороди сметены, дороги размыты. В панике семейство сгрудилось в комнате, все надеялись, что больная придет в себя и скажет, как ей помочь. Вошел папаша Мюллер, встал у постели на колени, взял руки жены в свои, заговорил с нею необыкновенно ласково, а когда она не ответила, разразился громкими рыданиями, и крупные слезы покатались по его щекам. — Ah, Gott, — повторял он. — Сотни тысяч толларов в банке! — Сам не свой, он свирепо оглядел свое семейство и говорил на этом испорченном английском, будто позабыл свой родной язык. — И скажите, скажите мне, сачем они?

Это испугало молодых Мюллеров, и они все разом, напе-

\* О боже (нем.).

\*\* Мамочка, мама, мама (нем.).



ребой, закричали, в безмерном отчаянии они зывали к матери, умоляли ее. Вопли горя и ужаса наполнили комнату. И среди всей этой сумятицы мамаша Мюллер скончалась.

В полдень дождь перестал, солнце латунным диском выкатилось на беспощадно яркое небо. Вода, густая от грязи, двигалась к реке, и холм стоял полысый, бурый, изгороди на нем полегли плетью, персиковые деревца с облетевшим цветом кренились, чуть держась за землю корнями. Леса, в каком-то неистовом взрыве, извергли сразу крупную листовую, густую, как в джунглях, блестящую, жгучую — сплошную массу яркой зелени, отливавшей синевой.

Семейство совсем притихло, я долго вслушивалась, чтобы понять, есть ли хоть кто-нибудь дома. Все, даже малые дети, ходили на цыпочках и говорили шепотом. С полудня до вечера в сарае раздавались однообразные удары молотка и скулеж пилы. Когда стемнело, мужчины внесли сверкающий гроб из свежего соснового дерева с веревочными ручками и поставили его в прихожей. Он стоял на полу около часа, и все через него переступали. Потом на пороге появились Аннетье и Хэтси (они обмывали и одевали тело) и подали знак: «Можно вносить».

Мамаша Мюллер в полном убранстве — черном шелковом платье с белым кружевным воротничком и кружевном чепце — пролежала в гостиной всю ночь. Муж сидел подле нее в плюшевом кресле и не сводил глаз с ее лица — лицо было задумчивое, кроткое, далекое. Временами папаша Мюллер тихо плакал, утирая лицо и голову большим носовым платком. Иногда дочери приносили ему кофе. Он так и уснул здесь под утро.

На кухне тоже почти всю ночь горел свет; тяжело, неуклюже двигалась Оттилия, и жужжание кофейной мельницы да запах пекущегося хлеба сопровождали ее шумную возню. Ко мне в комнату пришла Хэтси.

— Там кофе и пирог. Вы бы покушали. — Она заплакала и отвернулась, комкая в руке кусок пирога.

Мы ели стоя, в полном молчании. Оттилия принесла толь-

ко что сваренный кофе, ее затуманенные глаза смотрели в одну точку, и, как всегда, она словно бы бессмысленно суетилась, пролила себе на руки кофе, но, видно, ничего не почувствовала.

Целый день Мюллеры ждали; потом младший сын отправился за лютеранским пастором, и вместе с ними пришел кое-кто из соседей. К полудню прибыло еще много народу — все в грязи, взмыленные лошади с трудом переводили дух. При появлении каждого гостя Мюллеры с детской непосредственностью сызнова заливались слезами. Лица их намокли, размякли от слез; казалось, они немного успокоились. Слезы облегчали душу, а тут можно было поплакать вволю, никому ничего не объясняя, ни перед кем не оправдываясь. Слезы были для них роскошью, но слезы лечили. Все, что накопилось на сердце у каждого, самую сокровенную печаль можно было тайком выплакать в этом общем горе; разделяя его, они утешали друг друга. Еще какое-то время они будут навещать могилу, вспоминая мать, а потом жизнь возьмет свое, войдет в иную колею, но все останется по-прежнему. Ведь даже сейчас живым приходится думать о завтрашнем дне, о том, что необходимо построить заново, посадить, починить, даже сейчас, сегодня они будут торопиться с похорон домой, чтобы подоить коров, накормить кур, а потом снова и снова поплакать, и так несколько дней, пока слезы наконец не исцелят их.

В тот день я впервые постигла — не смерть, но страх смерти. Когда гроб поставили на похоронные дроги и уже готова была тронуться процессия, я поднялась в свою комнату и легла. Лежа на кровати и глядя в потолок, я слышала и чувствовала всем существом зловещий порядок и многозначительность каждого движения и звука внизу: скрип упряжи, стук копыт, визг колес, приглушенные печальные голоса, — и мне показалось, что от страха моя кровь будто ослабляет свой ток, а сознание с особенной ясностью воспринимает все эти грозные приметы. Но по мере того как уходила со двора процессия, уходил и мой ужас. Звуки отступали, я лежала в изнеможении, охваченная какой-то дремотой, — мне стало

легче, я ни о чем не думала, ничего не чувствовала.

Сквозь забытие я слышала, как воеет собака, казалось, это сон, и я силилась проснуться. Мне чудилось, будто Куно попал в капкан; потом я подумала, что это не сон, он правда в капкане и надо проснуться, ведь, кроме меня, некому его освободить. Я окончательно проснулась от плача, налетевшего на меня вихрем, и поняла, что воеет вовсе не собака. Сбежала вниз и заглянула в комнату Гретхен. Она свернулась калачиком вокруг своего ребенка, и оба они спали. Я кинулась на кухню.

Оттилия сидела на своем сломанном табурете, сунув ноги в топку погасшей печки. Руки со скрюченными пальцами беспомощно повисли, голова втянута в плечи; она выла без слез, выворачивая шею, и все тело ее судорожно дергалось. Увидев меня, она ринулась ко мне, прижалась головой к моей груди, и руки ее метнулись вперед. Она дрожала, что-то лопотала, выла и неистово размахивала руками, указывая на открытое окно, где за ободранными ветвями сада по проулку в строгом порядке двигалась похоронная процессия. Я взяла ее руку — под грубой тканью рукава мышцы были неестественно сведены, напряжены, — вывела на крыльцо и посадила на ступеньки; она сидела и мотала головой.

Во дворе у сарая стояли только сломанный рессорный фургон да косматая лошаденка, которая привезла меня со станции. Упряжь по-прежнему была для меня тайной, но кое-как я ухитрилась соединить ее с лошадью и фургоном, не слишком надежно, но соединила; потом я тянула, толкала Оттилию, кричала на нее, пока, наконец, не взгромодила на сиденье и не взялась за вожжи. Лошадка бежала ленивой рысцой, и ее мотало из стороны в сторону, точно маслобойку, колеса вращались по эллипсу, и так, враскачку, чванливым шутовским ходом, кренясь на один бок, мы все же двигались по дороге. Я неотрывно следила за веселым кривлянием колес, уповая на лучшее. Мы скатывались в выбоины, где застоялась зеленая тина, проваливались в канавы, потому что от мостков не осталось и следа. Вот бывший тракт; я встала, чтобы посмотреть, удастся ли нагнать похоронную

процессию; да, вон она, еле тащится вверх по взгорку — гудящая вереница черных жуков, беспорядочно ползущих по комьям глины.

Оттилия замолчала, согнулась в три погибели и соскользнула на край сиденья. Свободной рукой я обхватила ее широкое туловище, пальцы мои попали между одеждой и худым телом и ощутили высохшую корявую плоть. Этот обломок живого существа был женщиной! Я на ощупь почувствовала, что она реальна, она тоже принадлежит к роду человеческого, и это так потрясло меня, что собачий вой, столь же отчаянный, каким исходила она, поднялся во мне, но не вырвался наружу, а замер, остался внутри, — он будет преследовать меня всегда. Оттилия скосила глаза, вглядываясь в меня, и я тоже внимательно посмотрела на нее. Узлы морщин на ее лице как-то нелепо переместились, она приглушенно взвизгнула и вдруг засмеялась — будто залаяла, — но это был явный смех: она радостно хлопала в ладоши, растягивала в улыбке рот и подняла свои страдальческие глаза к небу. Голова ее кивала и моталась из стороны в сторону под стать шутовскому вихлянию нашего шаткого фургона. Жаркое ли солнце, согревшее ей спину, или ясный воздух, или веселое бессмысленное приплясывание колес, или яркая с зеленоватым отливом синева неба, — не знаю что, но что-то развеселило ее. И она была счастлива, и радовалась, и гукала, и раскачивалась из стороны в сторону, наклонялась ко мне, неистово размахивала руками, точно хотела показать, какие видит чудеса.

Я остановила лошадку, вгляделась в лицо Оттилии и задумалась: в чем же моя ошибка? Ирония судьбы заключалась в том, что я ничего не могла сделать для Оттилии и потому не могла — как мне эгоистически хотелось — освободиться от нее; Оттилия была для меня недосыгаема, как, впрочем, для любого человека; и все же разве я не подошла к ней ближе, чем к кому бы то ни было, не попыталась перекинуть мост, отвергнуть расстояние, нас разделявшее, или, вернее, расстояние, отделявшее ее от меня? Ну что ж, вот мы и сравнялись, жизнь обеих нас одурачила, мы вместе бежали от

смерти. И вместе ускользнули от нее — по крайней мере еще на один день. Нам повезло — смерть дала нам еще вздохнуть, и мы отпразднуем эту передышку глотком весеннего воздуха и свободы в этот славный солнечный день.

Почувствовав остановку, Оттилия беспокойно заерзала. Я натянула вожжи, лошадка тронулась, и мы пересекли канавку там, где от большой дороги отделялся узкий проселок. Солнце плавно клонилось к закату; я прикинула: мы успеем проехаться по тутовой аллею до реки и вернуться домой раньше, чем все возвратятся с похорон. У Оттилии вполне хватит времени, чтобы приготовить ужин. Им не надо и знать, что она отлучалась.

# Тщета земная

## Часть I. 1885—1902

Она была молода и, казалось, полна живости, темные вьющиеся волосы подстрижены и разделены косым пробором, на чуть удлинённом личике прямые брови и крупные, с четким изгибом губы. Над черным, наглухо застегнутым корсажем белеет круглый воротничок, от белизны круглых манжет отчетливей выделяются праздные руки в ямочках, спокойно лежащие среди складок пышной юбки с турнюром и воланами. Так она и сидит, навек застыв в позе, принятой перед фотографом, недвижимый образ в темной раме орехового дерева, украшенной по углам серебряными дубовыми листьями, и, когда проходишь по комнате, следит за тобой серыми улыбчивыми глазами. От этой небрежной, равнодушной улыбки племянницам молодой женщины, Марии и Миранде, становится не по себе. Сколько раз они недоумевали, почему все старшие, глядя на портрет, говорят «какая прелесть» и почему все и каждый, кто ее знал, считают ее такой красивой и очаровательной.

Каким-то поблекшим оживлением веет и от фона — от вазы с цветами и спадающих складками бархатных портьер, — таких ваз и таких портьер теперь никто у себя держать не станет. И платье даже не кажется романтическим, просто оно ужасно старомодное, и все вместе кажется девочкам таким же неживым, как запах бабушкиных лекарственных сигарет, ее мебель, пахнувшая воском, и давно вышедшие из моды духи «Флёр д'оранж». Женщину на портрете звали тетя Эми, но теперь она лишь привидение в раме да красивая грустная повесть о давних-давних временах. Она была красива, очень любима, несчастлива и умерла молодой.

Марии двенадцать лет, Миранде восемь, обе знают, что они молодые, хотя чувство такое, словно живут они уже очень давно. Они прожили не только свои двенадцать и восемь лет, но как бы помнят то, что было задолго до их рождения, в жизни взрослых, — вокруг люди уже старые, почти всем за сорок, но они уверяют, будто тоже когда-то были молодыми. В это трудно поверить.

Отца Марии и Миранды зовут Гарри, он родной брат тети Эми. Она была его любимой сестрой. Иной раз он взглянет на эту ее фотографию и скажет: «Неудачный портрет. Больше всего ее красили волосы и улыбка, а здесь этого совсем не видно. И она была гораздо стройнее. Слава богу, в нашей семье толстух не бывало».

За такие слова Мария с Мирандой не осуждают отца, а только недоумевают, что он, собственно, хочет сказать. Бабушка худа как спичка; давно умершая мама, судя по фотографиям, была тоненькая, прямо как фитилек. Бойкие молодые особы, которые приезжают на каникулы навестить бабушку и, к удивлению Миранды, тоже оказываются просто бабушкиными внучками, хвастают осиными талиями — восемнадцать дюймов. Но что же отец думает про двоюродную бабушку Элизу, ведь она еле-еле протискивается в дверь, а когда сядет, похожа на большущую пирамиду, расширяющуюся от шеи до самого пола? А другая двоюродная бабушка, Кези из Кентукки? С тех пор как весу в ней стало двести двадцать фунтов, ее муж, двоюродный дедушка Джон-Джейкоб, не позволяет ей ездить на своих отличных лошадях. «Нет, — сказал он тогда, — рыцарские чувства пока не умерли в моей груди; но во мне жив еще и здравый смысл, не говоря уже о милосердии по отношению к нашим верным бессловесным друзьям. И первенство принадлежит милосердию». Дедушке Джону-Джейкобу намекнули, что из милосердия не следовало бы ему ранить женское самолюбие супруги подобными замечаниями о ее фигуре. «Женское самолюбие излечится, — хладнокровно возразило он, — а у моих лошадей не такие крепкие спины. И уж если бы у нее хватало женского самолюбия, она не позволила бы себе так рас-

плыться». Итак, двоюродная бабушка Кези славится своим весом, а разве она не член семьи? Но видно, когда отец говорит о молоденьких родственницах, которых знал в юности, ему изменяет память и он неизменно утверждает, что все они до единой, во всех поколениях были гибкими, как былинки, и грациозными, как серпы.

Так верен отец своим идеалам наперекор очевидности, и питается эта верность родственными чувствами и преданностью легенде, равно лелеемой всеми членами семейства. Все они любят рассказывать разные истории, романтические и поэтичные либо забавные, но и в их юморе есть романтика; они не прикрашивают событие, важно, с каким чувством о нем повествуют. Сердца и воображение этих людей остаются в плену прошлого — того прошлого, в котором житейская рассудительность значила ничтожно мало. И рассказывают они почти всегда о любви — о чистой любви под безоблачно чистыми, сияющими небесами.

Живые образы, что возникают перед ними из захватывающих дух рассказов старших, девочки пытаются связать с фотографиями, с портретами неумелых живописцев, искренне озабоченных желанием польстить, с праздничными нарядами, хранящимися в сушеных травах и камфаре, но их постигает разочарование. Дважды в год, не в силах устоять перед наступлением лета или зимы, бабушка чуть не целый день просиживает в кладовой подле старых сундуков и коробов, разбирает сложенные там одежды и маленькие памятки; раскладывает их вокруг на разостланных на полу простынях, иные вещицы, почти всегда одни и те же, заставляют ее прослезиться; глядя на портреты в бархатных футлярах, на чьи-то локоны и засушенные цветы, она плачет так легко, так кротко, словно слезы — единственное удовольствие, какое ей еще остается.

Если Мария с Мирандой тихие как мышки и ни к чему не притрагиваются, пока бабушка сама им не даст, она позволяет в такие часы сидеть с нею рядом или приходиться и уходить. Как-то без слов всеми признано, что бабушкина печаль больше никого не касается, замечать ее и говорить о ней не



следует. Девочки разглядывают то одну, то другую вещицу — сами по себе эти памятки вовсе не кажутся значительными. Уж такие некрасивые веночки и ожерелья, некоторые из перламутра; и траченные молью султаны из розовых страусовых перьев — украшение прически; и неуклюжие огромные броши и браслеты, золотые или из разноцветной эмали; и нелепые — их вкалывают торчком — гребни с длиннющими зубцами, изукрашенные мелким жемчугом и стеклярусом. Миранде отчего-то становится грустно. Уж очень жалко, что девушкам в далеком прошлом нечем было щегольнуть, кроме таких поблекших вещичек, длинных пожелтевших перчаток, бесформенных шелковых туфелек да широких лент, посекавшихся на складках. И где они теперь, те девушки, где они, юноши в каких-то чудных воротничках? Молодые люди кажутся еще неестественней, призрачней девушек — так наглухо застегнуты их сюртуки, такие у них пышные галстуки, и нафабранные усы, и аккуратно начесанные на лоб густые подвитые волосы. Ну кто примет такого всерьез?

Нет, Мария и Миранда никак не могут сочувствовать безнадежно старомодным девицам и кавалерам, застывшим когда-то в чопорной позе, как усадил их фотограф; но притягивает и манит непостижимая нежность тех, кто, оставшись в живых, так любит и помнит этих покойников. Сохранившиеся вещицы ничего не значат, они тоже умирают и обращаются в прах; черты, запечатленные на бумаге или на металле, ничего не значат, но живая память о них — вот что завораживает девочек. Обе — жадное внимание и ушки на макушке — они настороженно ловят клочки разговоров, склеивают, как умеют, кусочки рассказов, будто связывают воедино обрывки стихотворения или мелодии, да все это и вправду походит на услышанные или прочитанные стихи, на музыку, на театр.

— Расскази опять, как тетя Эми уехала из дому, когда вышла замуж.

— Она выбежала в туман, на холод, вскочила в карету и обернулась, улыбается, а сама бледна как смерть и кричит: «До свиданья, до свиданья!» Плащ взять не захотела, сказала

только: «Дайте мне стакан вина», и никто из нас больше не видел ее живой.

— А почему она не захотела надеть плащ, кузина Кора?

— Потому что она не была влюблена, милочка. «Надежды рушились, и я постиг, что нам любовь дается лишь на миг».

— А она правда была красивая, дядя Билл?

— Прекрасна, как ангел, детка.

Вокруг трона святой девы хороводом вьются златокудрые ангелы в длинных складчатых голубых одеждах. Они ни капельки не похожи на тетю Эми, и совсем не такой красотой девочек приучили восхищаться. Для красоты установлены строгие мерки. Во-первых, требуется высокий рост; какого бы цвета ни были глаза, волосы должны быть темные и чем темней, тем лучше, а лицо бледное и кожа безупречно гладкая. Очень важно двигаться быстро и легко. Красавица должна отменно танцевать, превосходно ездить верхом, никогда не терять спокойствия, держаться любезно и весело, но с неизменным достоинством. Нужны, разумеется, красивые зубы и красивые руки, но превыше всего — некое таинственное обаяние, оно привлекает и чарует сердца. Все это восхитительно, но сбивает с толку.

В детстве Миранда твердо верила, что хоть она маленькая и худенькая, курносый нос ее осыпан веснушками и в серых глазах тоже пятнышки, и частенько на нее находит — вдруг вспылит и раскричится, — но, когда вырастет, она каким-то чудом превратится в высокую брюнетку со сливочно белой кожей, совсем как кузина Изабелла, и непременно станет носить белые шелковые платья с длинным треном. Мария, обладая врожденным здравым смыслом, таких лучезарных надежд не питала.

— Мы пошли в мамину комнату, — говорила она. — И ничего с этим не поделаешь. Мы никогда не будем красивые, и никогда у нас не сойдут веснушки. А у тебя, — сказала она Миранде, — еще и характер плохой.

Да, Миранда признавала, в этих недобрых словах есть и правда, и справедливость, однако втайне все равно верила,

что в один прекрасный день красота будет ей дарована, так же как однажды, вовсе не за какие-то ее заслуги, а просто по наследству, ей достанется богатство. Она долго верила, что в один прекрасный день станет похожа на тетю Эми — не такую, как на фотографии, а на ту, какой ее помнят все, кто видел ее при жизни.

Когда кузина Изабелла в черной облегающей амазонке выходит из дому, окруженная молодыми людьми, грациозно вскакивает в седло и, натянув поводья, поднимает лошадь на дыбы и заставляет послушно плясать на месте, пока так же стремительно и уверенно садятся на коней остальные, сердце Миранды чуть не до боли пронизывают и восхищение, и зависть, и гордость за великолепную всадницу; но кто-нибудь из старших всегда умеряет эту бурю чувств:

— Изабелла почти такая же хорошая наездница, как Эми, не правда ли? Но у Эми был чисто испанский стиль, она умела добиться от коня такого аллюра, какого от него никто и не ждал.

Юная тезка тети Эми собралась на бал, она проходит по коридору, шурша оборками платья из белой тафты, она вся мерцает при свете ламп, словно мотылек, локти отведены назад, будто острые крылышки, она скользит, точно на коньках, — такая теперь в моде походка. Признано, что на любом званом вечере Эми-младшая танцует лучше всех, и Мария, вдохнув аромат духов, шлейфом потянувшийся за кузиной, всплескивает руками.

— Скорей бы и мне стать взрослой! — вздыхает она.

Но старшие единодушно утверждают, что первая Эми вальсировала легче, изящней, более плавно и Эми-младшей с нею не сравниться. Кузина Молли Паррингтон, уже далеко не молодая, в сущности, из того поколения, что предшествовало тете Эми, — известная чаровница. Мужчины, которые знали ее всю ее жизнь, еще и сейчас толпятся вокруг нее; она благополучно овдовела во второй раз и, вне всякого сомнения, снова выйдет замуж. Но Эми, уверяют старшие, не менее живая и остроумная, не была дерзка, Молли же, сказать по правде, скромностью не отличается. Она

красит волосы, да еще подшучивает на этот счет. У нее особая манера где-нибудь в углу собирать вокруг себя мужчин и рассказывать им всякие истории. И она совсем не матерински обращается со своей дочерью Евой — той уже за сорок, она уродина и старая дева, а Молли и сейчас царица бала.

— Не забывайте, я ее родила в пятнадцать л е т , — бессовестно заявляет она, глядя в глаза давнишнему поклоннику, хотя оба они прекрасно помнят, что он был шафером на ее первой свадьбе и тогда ей минул двадцать о д и н . — Все говорили, что я была прямо как девочка с куклой.

У Евы совсем нет подбородка, и ей никак не удастся прикрыть верхней губой два вылезавших вперед огромных зуба; она застенчива, забьется куда-нибудь в угол и оттуда следит за матерью. Лицо у нее какое-то голодное, взгляд напряженный и усталый. Она ходит в старых, перешитых платьях матери и преподает латынь в женской семинарии. Убежденная, что женщины должны получить право голоса, она немало разъезжает и произносит по этому поводу речи. Когда матери нет, Ева ненадолго расцветает, недурно танцует, улыбается, показывая все свои зубы, и становится похожа на чахлое растеньице, выставленное под тихий дождик. Молли склонна потешаться над своим гадким утенком.

— Мне повезло, что дочка у меня старая д е в а , — посмеивается Молли. — Навряд ли она сделает меня бабушкой.

И Ева краснеет, словно от пощечины.

Да, конечно, Ева безобразна, но девочки чувствуют — она неотделима от их повседневной жизни, совсем как скучные уроки, которые надо учить, как тесные новые башмаки, которые надо разносить, и шершавая фланель, которую приходится надевать в холода, и корь, и несбывшиеся надежды, и разочарования. А тетя Эми неотделима от мира поэзии. Романтична и долгая безответная любовь к ней дяди Габриэля, и ее ранняя смерть — о таком рассказывают старые книги, где все необыкновенно и все п р а в д а , — например, «Vita Nuova» \* Данте, сонеты Шекспира и «Свадебная

\* «Новая жизнь» (*итал.*).

песнь» Спенсера, и еще стихи Эдгара Аллана По: «Мятущейся душе, объятай вечным сном, уж боле не скорбеть о розах, о былом». Отец прочитал им эти стихи и сказал: «Это наш величайший поэт», и девочки поняли, что «наш» значит поэт южан. Присутствие тети Эми ощутимо в их жизни, как ощутимо все, что изображено в старых книгах на репродукциях картин Гольбейна и Дюрера. Лежа на полу на животе, девочки всматриваются в удивительный мир, переворачивают ветхие, легко распадающиеся листы; их ничуть не удивляет, что богоматерь кормит младенца, сидя на колоде; для них и вправду существуют всадники Смерть и Дьявол, сопровождающие мрачного рыцаря, и не кажется странным, что строго одетые дамы из семейства сэра Томаса Мора важно восседают прямо на полу — по крайней мере, так это выглядит. Они не бывали на представлениях с собаками и пони или с волшебным фонарем, но отец повел их смотреть «Гамлета», и «Укрощение строптивой», и «Ричарда Третьего», и длинную печальную пьесу про Марию, королеву шотландскую. Миранда решила, что великолепная дама в черном бархатном платье и правда королева шотландская, — и очень огорчилась, узнав, что настоящая королева умерла давным-давно, а вовсе не в этот вечер, у нее, Миранды, на глазах.

Девочки любят театр — мир, где шествуют героини ростом много выше обыкновенных людей и заполняют сцену собою, своими необыкновенными голосами, величавые, точно боги и богини, чьему мановению руки повинуются вселенная. Но и тут всякий раз кто-нибудь из старших напоминает о других, более великих артистах. Бабушка в молодости слышала Дженни Линд и полагает, что Нелли Мелбу расхваливают не в меру. Отец видел Сару Бернар — госпоже Модьеской с нею не сравниться. Когда в их городе давал свой первый концерт Падеревский, послушать его съехались и остановились в доме у бабушки родичи со всего штата. Девочки на сей раз остались в стороне от знаменательного события. Они лишь разделили общее волнение, когда старшие уезжали на концерт, и праздничные минуты, когда те, возвратясь,

сходились по несколько человек и, не выпуская из рук стакан вина или чашку кофе, беседовали вполголоса, счастливые, исполненные восторженной почтительности. Да, несомненно произошло нечто потрясающее, и девочки в ночных рубашонках сновали тут же и прислушивались, покуда кто-то не заметил их и не изгнал из лучезарных отсветов этой славы. Однако некий старый джентльмен прежде не раз слышал Рубинштейна. И конечно же, на его взгляд, Рубинштейн проникал в самую суть музыкального произведения как никто другой, куда там Падеревскому, смешно и сравнивать. Девочки слушали невнятное бормотанье старика, он все махал рукой, словно хотел водворить тишину. Остальные поглядывали на него и тоже прислушивались, но его воркотня ничуть не нарушала их мирной растроганности. Они-то никогда не слышали Рубинштейна, всего лишь час назад они слушали игру Падеревского — и чего ради воскрешать далекое прошлое? Тут Миранду силком увели из гостиной, но она, хоть поняла не все, разозлилась на старика. Ей казалось, будто и она только что слышала Падеревского.

Итак, есть еще какая-то жизнь кроме той, что окружает их в этом мире, и загробной; такие вот случаи открывают девочкам благородство человеческих чувств, божественный дар человека видеть незримое, величие жизни и смерти, глубины человеческого сердца, романтическую возвышенность трагедии. В одно из своих посещений кузина Ева, пытаясь приохотить Марию с Мирандой к занятиям латынью, рассказала им про Джона Уилкса Бута — убив президента Линкольна, он, такой живописный в длинном черном плаще, вскочил на сцену и, хоть у него была сломана нога, воскликнул гордо: «*Sic semper tyrannis*» \*. Девочки нимало не усомнились, что все в точности так и произошло, и мораль всего этого, видимо, была такая: для великих или трагических случаев надо непременно знать латынь или по крайней мере иметь в запасе хорошую цитату из классической поэзии. Кузина Ева объяснила им, что никто, даже самый хороший южанин не может одобрить поступок Бута. В конце концов,

\* Так всегда будет с тиранами (*лат.*).

это ведь убийство. Девочки должны это крепко запомнить. Но Миранда привыкла к трагедиям в книгах и к трагическим семейным преданиям — два двоюродных деда покончили с собой, а одна дальняя родственница от любви сошла с ума — и потому решила, что, не будь убийства, незачем было бы живописно кутаться в плащ, и прыгать на сцену, и кричать по-латыни. Так как же не одобрить поступок Бута? Все это так красиво звучит. Миранда знала, что один старик, их дальний родич, восхищался сценическим талантом Бута и видел его во многих спектаклях, но, увы, не в час его величайшего торжества. А жаль: так было бы приятно, если б их семейство было причастно к убийству Линкольна.

Дядя Габриэл, который так отчаянно любил тетю Эми, еще существует где-то, но Мария с Мирандой никогда его не видели. После смерти Эми он уехал куда-то далеко-далеко. Он все еще держит скаковых лошадей, выставляет их на самых знаменитых ипподромах страны — Миранда убеждена, что нет на свете занятия великолепнее. Очень скоро он женился во второй раз и написал бабушке — просил ее принять его новую жену как дочь, вместо Эми. Бабушка ответила довольно холодным согласием, пригласила новобрачных навестить ее, но почему-то дядя Габриэл так ни разу и не привез молодую супругу в родительский дом. Гарри навестил их в Новом Орлеане и сообщил, что эта вторая жена очень хорошенькая блондинка, хорошо воспитана и несомненно будет Габриэлу хорошей женой. А все-таки сердце дяди Габриэла разбито. Раз в год он неизменно пишет кому-нибудь из семьи и присылает денег, чтобы на могилу Эми возложили от него венки. Он написал стихи для ее надгробия и, оставив вторую жену в Атланте, сам приехал домой проследить, чтобы надпись правильно высекали на могильной плите. Он не мог объяснить, каким образом ему удалось сочинить эти стихи: с тех пор как он окончил школу, он не пробовал зарифмовать и двух строк. Но однажды, когда он думал об Эми, стихи сами пришли ему в голову, будто с неба свалились. Мария и Миранда видели эти стихи, вытиснен-

ные золотом на открытке. Дядя Габриэл разослал множество таких открыток всей родне.

Жизни и смерти избыв страданья,  
На небесах не страдает боле  
Певчий ангел, свободный от воспоминаний  
О тщите земной, о земной юдоли.

— Она и правда пела? — спросила Миранда отца.

— Не все ли равно? — спросил он в о т в е т . — Это же стихи.

— По-моему, они очень красивые, — почтительно сказала Миранда. Дядя Габриэл приходился ее отцу и тете Эми троюродным братом. Выходит, что их семья не чужда поэзии.

— Для надгробия стихи недурны, — сказал о т е ц , — но можно бы сочинить и получше.

Дядя Габриэл ждал пять лет, прежде чем женился на тете Эми. Она все прихварывала, у нее были слабые легкие; дважды она была помолвлена с другими молодыми людьми и оба раза безо всякой причины разрывала помолвку и только смеялась, когда люди постарше, с добрым сердцем, советовали ей не капризничать и не отвергать преданность красивого, романтического Габриэла, который вдобавок приходится ей троюродным б р а т о м , — ведь это не то что выйти замуж за совсем чужого человека. Говорили, что Габриэл слишком страдал от ее холодности, потому и начал вести беспутную жизнь и даже пить. Дед его, человек очень богатый, любил Габриэла больше всех внуков; из-за страсти Габриэла к скачкам у них вышла ссора, и Габриэл закричал: «Нужно же мне хоть что-то в жизни, черт возьми!» А ведь у него и так было все на свете — молодость, богатство, красота, любящая родня, и еще большее богатство ждало впереди. Дед упрекнул его в неблагодарности, в склонности к безделью и мотовству. Габриэл возразил — дед, мол, и сам держал скаковых лошадей и сумел извлечь из них немалую выгоду. «Но средства к существованию мне давали н е л о ш а д и », — заявил дед.

Об этом и еще о многом Габриэл писал кузине Эми из Саратоги, из Кентукки и Нового Орлеана и присылал ей



подарки, цветы во льду и телеграммы. Подарки были занятные — например, огромная клетка, полная крохотных зеленых попугаев-неразлучников; или украшение для прически — пышная эмалевая роза, на лепестках ее стразовые росинки, а над нею дрожит на золотой пружинке яркая бабочка из разноцветной эмали; но телеграммы всегда пугали мать Эми, а цветы после путешествия в поезде и потом в почтовой карете прибывали в довольно жалком виде. Розы он присылал в такую пору, когда у Эми и дома сад был полон роз в самом цвету. И она поневоле посмеивалась, хотя мать и уверяла ее, что со стороны Габриэла все это очень трогательно и мило. Такие подношения доказывают, что Эми всегда присутствует в его мыслях.

— Совсем неподходящее для меня место, — отвечала Эми, но как-то странно она это говорила, не понять, что же у нее на уме. Очень возможно, что это говорилось всерьез. И ни на какие вопросы она не отвечала.

— Это свадебный наряд Эми, — говорит бабушка и разворачивает широчайший бархатный плащ сизого цвета, раскладывает серебристое муарового шелка платье и маленькую шапочку — ток серого бархата, украшенную спереди темно-красными перьями. Рядом с бабушкой сидит красавица кузина Изабелла. Они беседуют, Миранда, если есть охота, может послушать.

— Она не захотела надеть ничего белого, даже фаты, — говорит бабушка. — И я не стала спорить, я ведь обещала моим дочерям, что они будут венчаться в чем пожелают. Но Эми меня удивила. «На что я буду похожа в белом атласе?» — сказала она. Правда, она была бледенькая, но в белом атласном платье выглядела бы как ангел, мы все так ей и сказали. А она говорит: «Если вздумается, хоть траур надену, это же мои похороны, а не чьи-нибудь». Я ей напомнила, что Лу и твоя мама венчались в белом и с фатой и мне приятно было бы видеть под венцом всех моих дочерей в одинаковом наряде. А Эми отвечает: «То Лу с Изабеллой, а то я», и, сколько я ни допытывалась, она не объяснила

мне, что это значит. Один раз, когда ей нездоровилось, она сказала: «Мамочка, мне недолго осталось на этом свете», но сказала как будто не всерьез. Я ей говорю: «Ты можешь прожить очень долгую жизнь, только будь разумна». А Эми отвечает: «В этом-то вся беда». И еще она сказала: «Мне жалко Габриэла. Он сам не понимает, на что напрашивается».

Я опять постаралась ей объяснить, что замужество и дети вылечат ее от всех болезней, — продолжает бабушка. — В нашей семье, говорю, все женщины смолоду слабы здоровьем. Вот когда я была в твоём возрасте, все думали, что я и года не протяну. Это называлось бледная немочь, от малокровия становишься прямо зеленая, и всем известно, что от этого есть только одно лекарство. А Эми отвечает: «Ну, если я доживу до ста лет и позеленею, как трава, я все равно не захочу выйти за Габриэла». И тогда я ей сказала очень серьезно, что, если у нее и правда такое чувство, ей, конечно, не следует за него выходить, и надо Габриэлу отказать раз и навсегда, и пускай он уедет. И у него все пройдет. А Эми отвечает: «Я уже ему отказала и велела уехать, а он не слушается». Тут мы с ней посмеялись, и я сказала, что девушки умеют на сто ладов уверять, будто не хотят замуж, и на тысячу ладов умеют испытывать свою власть над мужчинами, но она-то, Эми, уже всем этим вдоволь натешилась, и пора ей честно решить, да или нет. Вот я, — продолжает бабушка, — только и мечтала, как бы выйти за вашего дедушку, и, не попроси он моей руки, я, уж наверно, сама бы его попросила. А Эми уверяла, будто и вообразить не может, как это ей вдруг захочется замуж. Я, говорит, буду заправская старая дева, совсем как Ева Паррингтон. Ведь уже тогда было ясно и понятно, что Ева — прирожденная старая дева. Тут Гарри и говорит: «Ну, Ева... у Евы нет подбородка, вот в чем беда. Если бы и у тебя не было подбородка, Эми, ты, конечно, тоже разделила бы участь бедняжки Евы». А дядя Билл сказал: «Когда женщинам больше нечем утешиться, они начинают добиваться права голоса. Не очень-то оно заменяет супруга», — сказал дядя Билл. А Эми ему:

«Мне нужен такой спутник жизни, чтоб была не жизнь, а вальс, вот кого я ищущ». Напрасно было учить ее уму-разуму.

Братья с нежностью вспоминали, что Эми была умница. Послушав, как они отзываются о нраве и привычках сестры, Мария решила — они думали, будто Эми умная, потому что, отправляясь на бал, она всякий раз спрашивала, нравится ли им, как она выглядит. Если на их вкус что-нибудь было не так, она меняла платье или причесывалась по-другому, пока им не угодит, и говорила брату: «Ты такой добрый, ты не дашь твоей бедной сестренке показаться на люди уродиной». Но ни отца, ни Габриэла она не слушала. Бывало, с нее станется, если Габриэл похвалит ее платье, она тут же пойдет и наденет другое. Ему очень нравились ее длинные черные волосы, и однажды, когда она лежала больная, он приподнял разметавшуюся на подушке прядь и сказал: «Обожаю твои волосы, Эми, они у тебя самые красивые на свете». А когда пришел в следующий раз, смотрит — Эми коротко остриглась и голова у нее вся в крутых кудряшках. Габриэл так ужаснулся, словно она взяла и сама себя изувечила. И уж больше Эми волосы не отпускала, хоть братья ее и просили. Как раз тогда и сделан портрет, что висит на стене, — Эми послала эту фотографию Габриэлу, а он без единого слова ее вернул. Эми была очень довольна и вставила фотографию в рамку. В уголке есть надпись чернилами, беглым тонким почерком: «Дорогому брату Гарри, которому нравится, что я стриженная».

Тут кроется лукавый намек на очень серьезный скандал. Глядя на отца, девочки нередко задумывались — что было бы, если бы он не промахнулся, когда стрелял в того молодого человека. Полагали, что молодой человек поцеловал тетю Эми, хотя она вовсе не была с ним помолвлена. И предполагалось, что дядя Габриэл будет драться с ним на дуэли, но отец подоспел туда первым. У них славный, самый обыкновенный отец, когда девочки нарядные и послушные, он сажает их к себе на колени, а если придут не очень аккуратно причесанные или с не совсем чистыми ногтями, прогоняет. «Уходи, смотреть на тебя противно», — говорит

он сухо. Он замечает, если у кого-нибудь из дочерей пере-  
кручен чулок. Заставляет чистить зубы препротивной смесью  
толченого мела с угольным порошком и солью. Когда они  
капризничают, он их гонит с глаз долой. Они смутно по-  
нимают, что все это для их же блага в будущем; а когда  
простудишься и хлюпаешь носом, он прописывает горячий  
пунш и сам проследит, чтобы тебя напоили этим чудесным  
лекарством. Он не теряет надежды, что дочери вырастут не  
такими глупенькими, какими выглядят вот сейчас, сегодня, а  
если забудешься и при нем говоришь о чем-нибудь слишком  
уверенно, он спрашивает: «Откуда ты это знаешь?» — да  
таким тоном, что поневоле растеряешься. Потому что —  
вот беда! — неизменно оказывается, что ничего они этого не  
знали, а только повторяли с чужих слов. Да, разговаривать  
с отцом нелегко, он расставляет ловушки, и в них неизмен-  
но попадаешься, а Марии с Мирандой чем дальше, тем силь-  
ней хочется, чтобы он не считал их дурочками. И при таком  
вот характере их отец когда-то уехал в Мексику и прожил  
там почти год, а все потому, что стрелял в человека, с кото-  
рым тетя Эми кокетничала на балу. И это он очень не-  
правильно поступил, надо было вызвать того человека на  
дуэль, как сделал дядя Габриэл. А отец просто взял и выстре-  
лил в него, как самый последний невежа. Из-за этой истории  
во всей округе поднялся ужасный переполох и помолвка тети  
Эми с дядей Габриэлом чуть было не расстроилась оконча-  
тельно и бесповоротно. Дядя Габриэл уверял, что тот моло-  
дой человек поцеловал тетю Эми, а тетя Эми уверяла, что он  
только любовался ее красивыми волосами.

Тогда в дни карнавала затеяли великолепный костюмиро-  
ванный бал. Гарри хотел нарядиться тореадором, потому что  
влюблен был в Мариану, а ей очень шли черная кружевная  
мантилья и мексиканский гребень. Мария и Миранда виде-  
ли фотографию матери в том наряде, на милом ее лице ни  
тени кокетства, она так серьезно глядит из-под водопада  
кружев, спадающих с торчком стоящего в волосах гребня,  
и над ухом воткнута роза. Эми скопировала свой костюм с  
маленькой пастушки дрезденского фарфора, что стоит на

каминной доске в гостиной; это была точная копия: шляпа с лентами, золоченый посошок, очень открытый зашнурованный корсаж, короткие пышные юбки, зеленые туфельки — все в точности такое же. И черная полумаска, но она никого не обманывала. «Эми можно было узнать хоть за тысячу шагов», — сказал отец. Габриэл, невзирая на свои шесть футов три дюйма росту, оделся под стать — ну и вид же у него был в голубых шелковых панталонах до колен и в белокуром парике, да еще кудри перевязаны лентой. «Он себя чувствовал дурак дураком и выглядел по-дурацки, и в тот вечер уж доподлинно сваял дурака», — сказал дядя Билл.

Вечер проходил очень мило, пока все не собрались вниз, готовясь ехать на бал. Отец Эми — наверно, он так и родился самым настоящим дедушкой, думала Миранда, — только глянул на дочку, на виднеющиеся из-под юбки ножки в белых чулках, глубокий вырез корсажа и нарумяненные щеки — и сразу вспылил, возмущенный таким неприличием. «Позор! — провозгласил он во всеуслышание. — Моя дочь не покажется на люди в таком виде! Это непристойно! — прогремело н . — Непристойно!»

Эми сняла маску и улыбнулась ему.

«Полно, пап о ч к а , — нежно сказала о н а , — что же тут плохого? Посмотри на каминную полку. Пастушка целую вечность тут стоит, и тебя она никогда не смущала».

«Это совсем другое дело, б а р ы ш н я , — возразил о т е ц . — Совсем другое дело, и ты сама прекрасно это понимаешь. Изволь сию минуту подняться к себе, и заколи повыше корсаж, и спусти пониже юбки, из дому ты выйдешь только в приличном виде. Да смотри умойся!»

«По-моему, тут нет ничего дурного, — решительно вмешалась мать Э м и . — И напрасно ты так выражаешься при невинных девочках». Она пошла с Эми, в доме нашлись и еще помощницы, много времени не потребовалось. Через десять минут Эми вернулась чистенькая — румяна смыты, на груди над корсажем кружева, пастушеские юбки скромно тянутся шлейфом по ковру.

Когда Эми вышла из гардеробной и закружилась в первом танце с Габриэлом, никаких кружев в вырезе ее корсажа уже не было, юбки вызывающе вздернулись короче прежнего, пятна румян на щеках так и рдели. «Скажи правду, Габриэл, ведь жаль было бы испортить мой наряд?» Габриэл, в восторге от того, что она поинтересовалась его мнением, объявил: наряд превосходен! И оба дружно, снисходительно порешили, что, хотя старшие частенько докучают, не стоит их расстраивать откровенным непослушанием, ведь их-то молодость миновала, что же им остается в жизни?

Гарри танцевал с Марианой, которая, кружась в вальсе, искусно откидывала тяжелый трен платья, но при этом все сильнее беспокоился за сестру. Эми пользовалась чересчур большим успехом. Молодые люди, точно мухи на мед, устремлялись к ней через всю залу, не сводя глаз с обтянутых белым шелком ножек. Иные из этих молодых людей были Гарри незнакомы, других, напротив, он знал слишком хорошо и не считал их обществом подходящим для своей сестры. Габриэл, нелепый в шелку и парике лирического пастушка, стоял поодаль и сжимал перевитый лентой посох так, словно безобидный посох оцетинился шипами. С Эми он почти не танцевал, танцевать с другими ему было мало радости, на душе черным-черно.

Довольно поздно, в одиночестве, наряженный Жаном Лафиттом, появился некий джентльмен, по рождению креол, который двумя годами раньше некоторое время был помолвлен с Эми. Он напрямик направился к ней, точно влюбленный, уверенный во взаимности, и сказал, почти не понижая голоса, так, что все поблизости слышали: «Я пришел только потому, что знал — вы здесь. Вот потанцую с вами и сразу уйду». «Раймонд!» — воскликнула Эми и просияла, точно при встрече с возлюбленным. Она танцевала с этим Раймондом четыре танца подряд, а затем, об руку с ним, скрылась из залы.

Гарри и Мариана в благопристойных романтических костюмах, безупречные жених и невеста, имеющие полное право быть счастливыми, медленно вальсировали под свой

любимый напев — печальную песнь мавританского владыки, покидающего Гранаду. Не слишком уверенно выговаривая испанские слова, они чуть слышно напевали друг другу эту песнь любви, разлуки и скорби, пронзающей сердце точно острием меча и рождающей в нем сострадание ко всем, кто повержен и обездолен: «Приют любви, мой рай земной... я расстаюсь навек с тобой... скворец усталый без гнезда, где кров найдешь, летишь куда? А мне, вдали родной страны, увы, и крылья не даны... Крылатый странник, пусть твой путь тебя ведет ко мне на грудь, гнездо со мною рядом свей, упыюсь я песнею твоей, оплачу родину мою...»

В блаженную сладость этих минут ворвался Габриэл. Где-то на полпути он отшвырнул пастушеский посох, белокурый парик держал в руке. Он жаждал немедля поговорить с Гарри, и не успела Мариана опомниться, как уже сидела подле матери, а взволнованные молодые люди скрылись. Дождаясь жениха, встревоженная и огорченная, Мариана улыбнулась Эми, которая пронеслась мимо, вальсируя с молодым человеком в костюме дьявола — имелись даже не очень ловко сидящие на ноге ярко-красные башмаки с раздвоенным копытом. Через минуту вновь появились Гарри и Габриэл, очень серьезные, Гарри тут же метнулся в гущу танцующих и возвратился с Эми. Девушек и их старших спутниц попросили покинуть бал, их немедля доставят домой. Все это было загадочно и внезапно, Гарри лишь сказал Мариане: «Я тебе объясню, что случилось, но не сейчас, после...»

Из всего этого постыдного происшествия бабушке только и запомнилось, что Габриэл привез Эми домой один, а Гарри появился позже. Остальные тоже возвращались порознь, картина происшествия сложилась понемногу из отрывочных рассказов. Эми молчала и, как потом стало ясно матери, вся горела в жару. «Я сразу поняла, что-то стряслось неладное. Спрашиваю Эми — что случилось, а она упала в кресло, будто совсем обессилела, и отвечает: «Да вот, Гарри ходит там на балу и стреляет в людей». «Это все из-за те-

бя, Эми», — говорит Габриэл. А Эми в ответ: «Ничего подобного. Не верь ему, мамочка». Тогда я говорю: «Ну, довольно. Расскажи мне все по порядку, Эми». И она сказала: «Понимаешь, мамочка, пришел Раймонд, а ты же знаешь, он мне нравится и он прекрасно танцует. Вот мы с ним и танцевали, может быть, многовато. А потом вышли на галерею подышать свежим воздухом и там стояли. И он сказал, какие у меня красивые волосы и что ему нравится эта новомодная короткая стрижка». Тут Эми мельком глянула на Габриэла. «А потом вышел другой молодой человек и сказал: «Я вас всюду искал. Сейчас ведь наш танец, правда?» И я пошла в залу танцевать. А после этого, видно, сразу пришел Габриэл и вызвал Раймонда из-за чего-то, уж не знаю, на дуэль, но Гарри не стал ждать их дуэли. Раймонд уже вышел, велел подать ему лошадь, наверно, на дуэли не дерутся в маскарадном костюме, — говорит Эми и смотрит на Габриэла, он прямо весь съезился в своем пастушеском голубом шелку, — а Гарри вышел да сразу в него и выстрелил. По-моему, это нехорошо».

Мать согласилась, что это нехорошо, это даже недостойно, она просто не понимает, о чем только думал ее сын Гарри, когда так поступал. «Защищать честь сестры следует по-другому», — сказала она ему после. «А я не хотел, чтобы Габриэл дрался на дуэли, — возразил Гарри. — Да и толку большого от этого бы не было».

Габриэл стоял перед Эми, он наклонился к ней и опять задал вопрос, который, видно, твердил всю дорогу с бала домой: «Он тебя поцеловал, Эми?»

Эми сняла широкополую пастушескую шляпу и откинула волосы со лба. «Может быть, и поцеловал, — сказала она, — может быть, я сама этого хотела».

«Ты не должна так говорить, Эми, — вмешалась мать. — Отвечай Габриэлу».

«А у него нет никакого права меня спрашивать», — сказала Эми, но сказала не сердито.

«Ты его любишь, Эми?» — спросил Габриэл, и у него на лбу выступил пот.



«Это неважно», — сказала Эми и откинулась на спинку кресла.

«Нет, важно, страшно важно», — сказал Габриэл. — Отвечай мне сейчас же». Он взял ее за руки и хотел их удерживать. Но она упрямо, решительно старалась отнять руки, и Габриэлу пришлось их выпустить.

«Оставь ее в покое, Габриэл, — сказала мать. — Сейчас тебе лучше уйти. Мы все устали. Поговорим завтра».

Она помогла Эми раздеться, заметила перемену в корсаже и укороченную юбку. «Напрасно ты это сделала, Эми. Это неразумно. По-другому было лучше».

«Мамочка, — сказала Эми, — опостылела мне такая жизнь. Все это не по мне. До чего все скучно!» У нее стало такое лицо, будто она вот-вот заплачет. Эми даже в раннем детстве плакала очень редко, и мать испугалась. И тут-то она заметила, что от дочери пышет жаром.

«Габриэл скучный, мама... он все время дуется», — сказала Эми. — Вальсирую мимо него и каждый раз вижу, он дуется. Он мне весь бал испортил. Ох, как спать хочется».

Мать сидела и смотрела на нее и только диву давалась, как это у нее родилась такая красавица. «Во сне она была прекрасна, как ангел», — сказала мать.

Дуэль между Габриэлом и Раймондом не состоялась, за эту тревожную ночь вмешались друзья обоих и предотвратили ее. Но не так-то просто было загладить безрассудный выстрел Гарри. Похоже, Раймонд жаждал мести, дело могло принять дурной оборот. Габриэл, братья и друзья в один голос убеждали Гарри, что самый верный способ избежать еще худшего скандала — на время скрыться, и Гарри внял их советам. Едва стало светать, молодые люди вернулись домой, оседлали лучшую лошадь Гарри, помогли ему собрать кое-какие вещи на дорогу; Билл с Габриэлом поехали его провожать, и Гарри поскакал к границе так, словно отважился на веселое приключение.

Эми проснулась от поднявшейся в доме суеты и узнала, что они задумали. Через пять минут после отъезда молодых людей она сошла вниз уже в амазонке, велела конюху осед-

лать ее лошадь и помчалась вдогонку. Почти все утро она провела в седле; еще не успев встревожиться долгим отсутствием дочери, родители обнаружили ее записку.

То, что грозило стать трагедией, обернулось лихой забавой. Эми доехала до границы, расцеловалась на прощанье со своим братом Гарри и все так же верхом вместе с Биллом и Габриэлом вернулась домой. Поездка длилась три дня, и, когда путники возвратились, Эми пришлось снять с лошади. Теперь она по-настоящему расхворалась, но весела была как никогда. Родители готовились встретить ее суровостью, но, едва увидев беглянку, об этом забыли. Гнев их обрушился на Билла и Габриэла. «Как вы позволили ей поехать?» — спрашивали они.

«Вы же знаете, не могли мы ее удержать, — беспомощно сказал Габриэл. — И ей было так весело!»

Эми рассмеялась:

«Было чудесно, мамочка! Самая лучшая прогулка за всю мою жизнь! И уж раз я оказалась героиней романа, почему бы не получить от этого побольше удовольствия?»

Насколько поняли Мария с Мирандой, скандал разразился ужасный. Эми просто-напросто слегла и не вставала, а Гарри, счастливо улизнув, выжидал, пока эта буря в стакане воды утихнет. Прочие члены семейства вынуждены были принимать гостей, писать письма, ходить в церковь, отдавать визиты и, как они выражались, расхлебывать кашу. Они не ведали, чем все это кончится, и стойко держались в своем тесном мирке, сплоченные общим напряжением, словно все их нервы исходили из одного узла. Этому главному узлу нанесен был удар — и родственные нервы содрогнулись даже на самых дальних окраинах штата Кентукки. В должный срок оттуда пришло письмо от двоюродной прабабушки Салли Ри на имя мисс Эми Ри. Темно-бурыми чернилами, напоминающими запекшуюся кровь, тонким неразборчивым почерком со старомодными значками и сокращениями прабабушка извещала Эми о своем глубочайшем убеждении, что нынешняя напасть — лишь предвестье новых бед, кои

вскорости обрушит всемогущий господь на уже обреченный гибели многогрешный род человеческий; это лишь предупреждение, что близок срок и всем надо приготовиться, ибо грядет конец света. Что до нее самой, она уже давно этого ждет и с покорностью встретит час, когда суждено предстать перед Создателем; и Эми, равно как беспутному брату ее Гарри, также надлежит предать себя в руки господя бога и приготовиться к худшему. *«Дорогая моя злосчастная юная родственница, — лопотала двоюродная прабабушка Салли, — долг наш в крайности съединиться всесемейно пред очи грозного судии, а не хватит овцы в стаде, что скажет Христос?»*

Странствия прабабушки Салли по путям веры давно стали у родни веселой притчей во языцех. Росла она католичкой, но отрелась от католической церкви ради некоего молодого человека из семьи камберлендских пресвитериан. Однако с их воззрениями освоиться не сумела и перешла к Независимым баптистам — в секту, ничуть не менее ненавистную мужниной родне, чем католики. Всю жизнь она провела в терзаниях, добровольной мученицей своей веры. По словам Гарри, «религия запустила в тетушку Салли свои когти и препоручила ей оттачивать их на себе». Салли переспорила, переборола и пережила всех своих сверстников, но ничуть без них не скучала. Она неутомимо выедала печенки следующему поколению родичей и уже с жадностью принималась за третье.

Читая прабабушкино письмо, Эми, как всегда, рассмеялась так весело и заразительно, что и все вокруг засмеялись, еще сами не зная над чем, а ее зеленые попугайчики-неразлучники обернулись в клетке и серьезно на нее поглядели. «Представляете, вдруг окажешься в царствии небесном рядышком с тетей Салли — вот удовольствие!»

«Подожди смеяться, — сказал ей отец. — Царствие небесное создано как раз для тети Салли. Там она будет чувствовать себя хозяйкой».

«Попасть в рай с тетушкой Салли — это будет мне наказание за грехи», — сказала Эми.

В беспокойное время, пока отсутствовал Гарри, Эми по-прежнему отказывалась выйти замуж за Габриэла. День за днем до матери Эми доносились их голоса, конца не было этому разговору. Однажды Габриэл вышел от Эми очень серьезный и расстроенный. Остановился перед ее матерью, сидевшей с шитьем в руках, и сказал:

«Я все заново обдумал, теперь я вижу, что Эми никогда за меня не выйдет».

«Никогда я никого так не жалела, как бедного Габриэла в ту минуту, — повторяла потом бабушка. — Но я сказала ему твердо: вот и оставь ее в покое, она больна».

И Габриэл ушел, и больше месяца от него не было вестей.

Наутро после ухода Габриэла Эми поднялась, с виду совершенно здоровая и цветущая, поехала с братьями Биллом и Стивеном на охоту, купила бархатную пелерину, заново постриглась и завилась и стала писать длинные письма Гарри, который превесело проводил время своего изгнания в Мехико-сити.

За одну неделю она трижды танцевала ночи напролет, а потом однажды поутру проснулась оттого, что у нее пошла кровь горлом. Эми словно бы испугалась, просила позвать доктора и пообещала во всем его слушаться. Несколько дней она провела спокойно за чтением. Спросила про Габриэла. Никто не знал, где он. «Ты бы ему написала, его мать перешлет письмо», — посоветовали ей. «Ну нет. Я привыкла видеть его кислую физиономию. А от писем нет никакого толку».

Однако через считанные дни Габриэл появился, с весьма кислой физиономией и с неприятной новостью. Проболел всего лишь один день, умер его дед. На смертном одре, во имя божие, находясь в здравом уме и твердой памяти, он лишил своего любимого внука Габриэла наследства. «Во имя божие старый дьявол в двух словах оставил меня нищим, Эми», — сказал Габриэл.

Он сказал, что больше всего уязвлен поведением ближайших родичей. Они не скрывают злорадства. Они всегда знали, что у Габриэла были все права и основания считать

себя наследником деда, и завидовали ему. Ни один не предложил хоть что-то ему уделить. Ни один даже и не подумал заглазить внезапную несправедливость выжившего из ума старика. Втайне все ликовали, что им повезло. «Он лишил меня наследства, и они радуются, — сказал Габриэл. — Наверно, воображают, что, значит, не зря они меня раньше всячески осуждали. Правильно они обо мне судили. Я паршивая овца, никудышник. О господи, поглядели бы вы на них».

«Интересно, как ты сможешь теперь прокормить жену?» — заметила Эми.

«Нет-нет, Эми, все не так плохо. Если бы ты только захотела...» — начал Габриэл.

«Если мы поженимся сейчас же, мы как раз успеем поехать на время карнавала в Новый Орлеан, — сказала Эми. — А если станем ждать великого поста, будет уже поздно».

«Что ты, Эми, — сказал Габриэл, — разве когда-нибудь может быть поздно?»

«Вдруг ты передумаешь, — сказала Эми. — Сам знаешь, ты такой ветреник».

Среди множества писем, хранимых бабушкой, были два, которые Мария и Миранда прочли, когда стали взрослыми. Одно было от Эми, написанное через десять дней после свадьбы.

«Милая мамочка, за то время, что мы с Новым Орлеаном не виделись, он изменился гораздо меньше, чем я. Я теперь степенная мужняя жена, а Габриэл очень преданный и добрый муж. Вчера на скачках Рампа пришла первой и принесла нам выигрыш, это было чудесно. Я на скачках бываю каждый день, наши лошади великолепны; у меня был выбор — Хвала Ирландии или Мисс Люси, и я выбрала Мисс Люси. Теперь это моя лошадка, она быстрая, как молния. Габриэл говорит, я выбрала неправильно, Хвала Ирландии продержится дольше. А я думаю, Мисс Люси на мой век хватит.

Мы здесь чудно проводим время. Как-нибудь на днях я

надену карнавальный костюм и пойду с Габриэлом на улицу. Мне надоело любоваться праздником с балкона. Габриэл говорит, это небезопасно. Он говорит, если я настаиваю, он меня поведет на карнавал, но я не уверена. Мамочка, он очень милый. Не волнуйся за меня. На бал-маскарад я надену бархатное платье, очень красивое, розовое с черным. Госпожа свекровь осведомилась, не слишком ли оно бьет на эффект. Я ей сказала — надеюсь, что так, если только меня не обманули. Корсаж облегающий, как перчатка, плечи очень открыты — папа ни за что бы не одобрил, — а юбка спереди от талии до колен схвачена широкими серебряными лентами, очень широкая на боках и особенно сзади, и кончается треном ровно в ярд длиной. Талия у меня теперь, благодаря мадам Дюрэ, всего восемнадцать дюймов. Надеюсь, я буду до того эффектна, что мою свекровь хватит удар. У нее они часто бывают. Габриэл тебе кланяется. Пожалуйста, хорошенько заботьтесь о Сером и Скрипаче, когда я вернусь, опять буду на них ездить. Мы собираемся в Саратогу, еще не знаю точно когда. Передай всем мой самый-самый нежный привет. Здесь, конечно, все время идет дождь...

Р. S. Мамочка, когда у меня выдается минутка свободная, я ужасно скучаю по дому. До свиданья, милая мамочка».

Второе письмо, через полтора месяца после свадьбы Эми, написала ее сиделка.

«Я срезала прядку ее волос, потому что была уверена, что вам захочется их сохранить. И пожалуйста, не думайте, что я по небрежности оставила лекарство у нее под руками, доктор сам про это написал и все объяснил. Оно бы ей ничуть не повредило, не будь у нее такое слабое сердце. Она просто не знала, сколько приняла, она мне часто говорила, что от такой маленькой лишней пиллюльки вреда не будет, и я ей сказала, надо быть поосторожнее и принимать только то, что я ей даю. Иногда она у меня их так выпрашивала, но я ни за что не давала больше, чем прописал доктор.

В ту ночь я уснула, потому что совсем не похоже было, что ей так уж худо, и доктор не велел мне сидеть возле нее ночью. Пожалуйста, примите мое сочувствие в вашей великой утрате и, пожалуйста, не думайте, что кто-нибудь был невнимателен к вашей милой дочке. Она очень страдала, а теперь обрела покой. Выздороветь она не могла, но могла бы пожить подольше. С почтением...»

Эти два письма и все милые сердцу бабушки странные памятки запрятаны были в сундуки и забыты на многие-многое годы. Видно, им не было места в этом мире.

## Часть II. 1904

Каникулы Мария с Мирандой проводили у бабушки на ферме; непрерывно читать было для них такое же естественное и приятное занятие, как для пони — щипать травку, и вот по некоей счастливой случайности им попались запретные литературные плоды, несомненно принесенные и оставленные там с душеспасительными намерениями кем-то из родственниц-протестанток. Если авторы стремились развлечь читателя, то книжки эти попали в самые подходящие руки. Текст, отпечатанный дрянным шрифтом на бумаге вроде промокательной, украшали неряшливо оттиснутые картинки, которые захватили девочек прежде всего тем, что в них ничего не удавалось понять. Тут были рассказы о красивых, но несчастных девицах, которые по загадочным причинам становились жертвами заговора и оказывались во власти безжалостных монахинь и священников; а потом их «заточали» в монастыри и заставляли принять постриг — ужасающий обряд, во время которого жертвы издавали отчаянные вопли, — и навеки обрекали на самое жалкое и несурзное существование. Похоже, они потом только и делали, что лежали, скованные цепями, в мрачных кельях либо помогали другим монахиням хоронить задушенных младенцев под каменными плитами в сырых, кишасших крысами подземельях.

Заточены! Вот слово, которого недоставало Марии с Мирандой, чтобы описать их жизнь в Новом Орлеане, в школе при монастыре младенца Иисуса, где они проводили долгие зимы, усиленно стараясь ничему не учиться. Подземелий тут не имелось — вот лишь одно из множества несомненных различий между жизнью в монастыре, какую вели Мария с Мирандой, и ужасами, о которых рассказывали книжки в бумажной обложке. Те ужасы никак не совпадали с жизнью, и девочки даже не пытались их сопоставить. Они давно научились отделять жизнь — повседневную, серьезную, цель которой вовсе не могла, — от поэзии, в которой, конечно же, все правда, но не повседневность, и от чтения запретного, от историй, где все происходит не так, как в доподлинном мире, на диво непоследовательно и невероятно, и волноваться нечего, потому что тут нет ни слова правды.

Девочки и в самом деле жили замкнуто, отгороженные от внешнего мира, но был в этой ограде просторный сад, с деревьями и гротом; на ночь их запирали в холодной длинной спальне, где все окна были раскрыты настежь, а в обоих концах спали монахини-надзирательницы. Кровати отделялись муслиновыми занавесками, и слабенькие ночники размещались так, что монахиням видно было сквозь занавески, а девочкам монахинь не видно. Может быть, монахини и не спят никогда, думала Миранда, а всю ночь сквозь тонкий муслин потихоньку следят за спящими. Она попробовала сочинить про это страшную историю, но оказалось, ей не так уж важно, чем заняты монахини. Обе они были добродушные и очень скучные и ухитрились навести скуку на всю спальню. По правде сказать, в монастыре младенца Иисуса день и ночь была сплошная скука, и Мария с Мирандой жили ожиданием субботы.

Никто ни разу не намекнул, что им следует самим постричься в монахини. Напротив, пожелав вслух добиться такой чести, Миранда почувствовала, что и сестра Клод, и сестра Остин, и сестра Урсула этого намерения не одобряют и почти не скрывают, как хорошо им известны слабости недостойной Мирандиной души. Но летнее чтение распах-



нуло перед девочками новый, замечательный мир, и теперь они так и считали, что живут «в заточении». Это бросало романтический отблеск на их прескучную жизнь, которую только и скрашивали блаженные субботы в сезон скачек.

Когда у монахинь была возможность заверить родных, что школьные успехи и поведение Марии с Мирандой более или менее сносны, за ними, празднично улыбаясь, являлся кто-нибудь из родных, брал их на скачки и вручал каждой по доллару с позволением поставить на любую лошадь. Порой выдавалась безотрадная суббота, когда девочки, совсем готовые — шляпы в руках, кудрявые волосы прилизаны и зачесаны за уши, складки темно-синих платьев чинно расправлены, — сидели и ждали, и настроение их падало все ниже, ниже, прямо в наглухо зашнурованные черные ботинки. Шляпы они не надевали до самой последней минуты, казалось невыносимо надеть шляпу, если в конце концов кузен Генри с кузиной Изабеллой или дядя Джордж с тетей Полли так и не придут и не возьмут их на скачки. Когда никто за ними не приезжал и мучительная суббота пропадала понапрасну, им давали понять, что это — наказание за лень или провинности минувшей недели. Знай они об этом заранее, можно бы не ждать, избежать горького разочарования. А бесплодное ожидание выматывало душу.

Однажды в субботу им велели спуститься в гостиную, и там их встретил отец. Он проделал всю дорогу из Техаса, чтобы их навестить. Увидав его, Мария с Мирандой было запрыгали, но тотчас замерли, отрезвленные недоверием. Повезет ли он их на скачки? Если повезет, они ему очень рады.

— Добрый день, — сказал отец, целуя их в щеки. — Вы хорошо себя вели? Сегодня в Креснт-сити скачки, дядя Габриэл пускает свою кобылу, и мы все поедem и поставим на нее. Вы довольны?

Мария, ни слова не говоря, надела шляпу, но Миранда выпрямилась и сурово посмотрела на отца. Слишком многими сомнениями терзалась она, не ведая, что принесет этот день.

— А почему ты нас не предупредил вчера? Я бы все время ждала и радовалась.

— Мы не знали, заслужите ли вы такое развлечение, — самым непринужденным родительским тоном отвечал их родитель. — Помните, как было дело в позапрошлую субботу?

Миранда потупилась, надела шляпу, заправила резинку под подбородок. Она очень хорошо все помнила. Посреди той недели она не выдержала единоборства с задачкой по арифметике, в отчаянии повалилась на пол и нипочем не хотела встать, так что ее просто вынесли из класса. Остаток недели угнетал все новыми огорчениями, а суббота стала днем скорби; скорби тайной, потому что, если горевать слишком шумно, только и получишь еще одну дурную отметку за поведение.

— Ну, ничего, — сказал отец, словно речь шла о самом пустячном пустяке. — Сегодня я вас беру. Идемте. У нас времени в обрез.

Такие поездки всегда были радостью с той минуты, как девочки садились в закрытый одноконный экипаж (уже само по себе удовольствие, темная плотная обивка внутри вся пропитана незнакомыми запахами и табачным дымом), и до волнующего мгновения, когдаходишь в ярко освещенный ресторан и тебя угощают необыкновенным обедом — ничего похожего не дают есть дома, а тем более в монастыре. Девочки получали по стакану воды, чуть подкрашенной кларетом, и чувствовали себя взрослыми, настоящими светскими особами.

Многолюдье всегда волновало, точно они впервые попали в толпу красивых, сказочно нарядных дам в цветах и перьях, в пудре и румянах и элегантных джентльменов в желтых перчатках. Сменяя друг друга, играли оркестры, гремели барабаны и медные трубы, порой по дорожке проносилась прекрасная горячая лошадь с крохотным, скорчившимся, точно обезьянка, наездником — шла разминка перед состязаниями.

У Миранды ко всему этому был свой тайный интерес, которым она из осторожности не делилась ни с кем, даже с

Марией. Марии меньше всего можно довериться. Через десять минут тайну знала бы вся семья. В последнее время Миранда решила, когда вырастет, стать жокеем. Отец однажды сказал, что она не будет высокая, так и останется небольшого росточка; а значит, никогда она не станет красавицей вроде тети Эми или кузины Изабеллы. Очень было горько хоронить надежду стать красавицей, а потом осенило — можно сделаться жокеем, и уж больше ни о чем Миранда не помышляла. Безмолвно, блаженно, вечерами перед сном, а часто, слишком часто и среди дня, чем бы делать уроки, она воображала себя в роли жокея. Подробности были неясны, но издали карьера эта представляла во всем блеске. Глупо расстраиваться из-за какой-то там арифметики, для будущего необходимо только одно — лучше, гораздо лучше ездить верхом. «Постыдилась бы, — сказал раз на ферме Трикси отец, когда Миранда, низко пригнувшись в седле, галопом скакала по дорожке на кобыле-мустанге. — При каждом скачке между тобой и седлом виден весь белый свет». Если ездить на испанский манер, почти совсем нельзя приподниматься над седлом и надо проделывать всякие штучки поводьями и коленками. Жокеи сидят в седле так, что колени у них почти вровень со спиной лошади, а сами приподнимаются чуть-чуть, легонько подпрыгивают, точно резиновый мячик. Что ж, Миранда это сумеет. Да, она будет жокеем, таким, как Тод Слоан, и станет выигрывать скачки по меньшей мере через раз. Тренироваться она пока будет тайно, а потом в один прекрасный день, легонько подпрыгивая в седле, появится с другими жокеями на скачках и выигрывает главный заезд и всех поразит, а больше всего — свое семейство.

В ту памятную субботу скакал ее кумир Тод Слоан и выиграл два заезда. Миранда жаждала поставить свой доллар на Тода, но отец сказал: «Нет, детка. Сегодня ты должна поставить на лошадь дяди Габриэла. Придержи свой доллар до четвертого заезда и поставь на Мисс Люси. Выдача будет сто к одному. Представляешь, вдруг она придет первой».

Миранда прекрасно знала, таких ставок — сто к одному — не бывает. Она надулась, измятый доллар у нее в руке стал влажный и теплый. Она уже выиграла бы три доллара, если бы поставила на Тода Слоана. Мария сказала благонаравно: «Нехорошо ставить против дяди Габриэла. А так наши деньги останутся в семье». Миранда скорчила ей гримасу, выпятила нижнюю губу. Паинька Мария не стала с ней препираться. Только презрительно сморщила нос.

Они вручили свои доллары букмекеру перед четвертым заездом, и тут из нижнего ряда, через головы зрителей, огромный краснолицый толстяк с длиннющими косматыми бурыми с проседью усами окликнул:

— Эй, Гарри!

— Боже милостивый, да это Габриэл! — сказал отец.

Он поманил усатого, и тот стал пробираться к ним сквозь толпу, тяжело ступая по отлогому проходу. Мария с Мирандой смотрели во все глаза, потом уставились друг на друга. «Неужели это и есть наш дядя Габриэл? — говорили их взгляды. — Неужели это романтический красавец, поклонник тети Эми? Неужели это он написал про тетю Эми стихи?» И о чем только думают взрослые, когда рассказывают свои сказки?!

Дядя Габриэл оказался очень толстый, рыхлый, в голубых глазах красные прожилки, взгляд унылый и жалостный, а громкий невеселый смех больше похож на стон. Вот он стоит над ними, высоченный, как башня, и кричит отцу:

— Ей-богу, Гарри, мы тысячу лет не видались. Ты бы хоть приехал поглядел на лошадей. А ты все такой же, Гарри, как живешь, а?

Оркестр грянул «За рекою», и дядя Габриэл стал кричать еще громче:

— Пойдем-ка отсюда! Чего ты уселся со сквалыгами, тут все ставят по грошику!

— Не могу! — закричал в ответ отец. — Я пришел с дочками. Вот они.

Дядя Габриэл благосклонно вперил в них мутный, рассеянный взгляд.

— Славная парочка, Гарри! — прогремел о н . — Хороши как картинки. Сколько им?

— Уже десять и четырнадцать, — сказал отец . — Несуразный возраст. Прямо клубок з м е й , — похвастал о н , — сплошь ядовитые зубы. Никакого сладу с ними н е т . — И он легонько распушил Мирандины волосы, будто хотел их взъерошить.

— Хороши как картинки, — вопил дядя Габриэл, — но обеим вместе далеко им до Эми, верно?

— Верно, далеко, — во все горло согласился отец , — но они еще не оперились!

«За рекою, за рекою ждет меня моя любовь», — томно выводил оркестр.

— Мне пора! — заорал дядя Габриэл. Девочки были совсем уже оглушены и растеряны. — У меня не жокей, а проклятье, Гарри, вечно мне не везет. Хоть привязывай его к седлу. Вчера свалился со Скрипача, так-таки и шлепнулся задом. Помнишь Мисс Люси, кобылу, на ней ездила Эми? Так вот, это ее тетка, Мисс Люси четвертая. Только с первой ни одну не сравнить. Сиди, где сидишь, я живо обернусь.

— Дядя Габриэл, — расхрабрилась М а р и я , — скажите Мисс Люси, что мы на нее поставили.

Дядя Габриэл наклонился к ней, девочкам показалось, что на глаза его под распухшими веками навернулись слезы.

— Благослови тебя бог, милочка! — завопил о н . — Я ей скажу.

И он ринулся вниз через толпу, костюм на нем мешковатый, широченная спина кажется немного сгорбленной, над воротником выпирает валик жира.

Миранда с Марией, приуныв от стольких разочарований, от первой встречи с дядей Габриэлом, который выглядел совсем не романтически и разговаривал так грубо, сидели понурые и на скачки даже не смотрели: все надежды рухнули, доллары пропали, на сердце камень. Они и не пошевелились, пока отец не перегнулся и не потянул их за руки. «Смотрите за своей л о ш а д ь ю , — наскоро предупредил о н . — Смотрите, Мисс Люси идет к финишу».

Девочки вскочили, взобрались на скамью, все у них внутри задрожало так, что они не сразу разглядели — тоненькая стрелка цвета красного дерева промелькнула мимо судейской трибуны, только на голову впереди, и все же, все же Мисс Люси, их милая, прелестная Мисс Люси, лошадка дяди Габриэла, выиграла, выиграла! Они прыгали, хлопали в ладоши, шляпы свалились за спину и держались только на резинках, волосы растрепались. Хриплая медь оркестра взорвалась оглушительным «Ай да молодка!», а толпа взревела так, что показалось — рушатся стены Иерихона.

Девочки, обе как в тумане, снова сели, а отец пытался поправить на них шляпы, потом достал носовой платок, мягко сказал Миранде: «Ну-ка высморкайся» — и заодно утер ей глаза. Потом распрямился и встряхнул дочерей, выводя их из оцепенения. Он улыбался, вокруг глаз прорезались веселые морщинки, и заговорил он с ними точно учтивый кавалер со взрослыми молодыми особами.

— Пойдемте засвидетельствуем наше почтение Мисс Люси, — сказал он. — Сегодня она героиня дня.

Лошади возвращались к конюшне мокрые, в ключьях пены, будто их мыли с мылом, бока ходили ходуном, ноздри раздувались. Жокеев отпустило напряжение, они сидели сгорбясь, только чуть покачивались в такт шагу лошади, и лица спокойные. Миранда мысленно отметила это на будущее — значит, вот как возвращаешься после скачек, непринужденный и невозмутимый, все равно, победил ты или потерпел поражение. Мисс Люси вернулась последней, и те, кто ставил на нее и выиграл — всего-то горсточка, — стали аплодировать ей и криками приветствовали жокея. Он улыбнулся и приподнял хлыст, взгляд его и сморщенное, темное от загара лицо оставались бесстрастны. У Мисс Люси из ноздрей шла кровь, две густые красные струйки запеклись на верхней губе и на нижней — такой круглой, бархатистой, Миранде казалось, нет на свете губ милее. Взгляд у лошади был дикий, колени дрожали, при каждом вдохе она всхрапывала.

Миранда стояла и смотрела во все глаза. Сердце ее сжалось: так вот еще как побеждают; вот что значило для Мисс Люси победить. И мгновенно, бесповоротно ее сердце отвергло такую победу, Миранда и сама не знала, когда это случилось, но она уже ненавидела эту победу, и ей было стыдно, что она визжала и плакала от радости, когда Мисс Люси на голову впереди других промчалась мимо судейской трибуны, а из бархатистых ноздрей струилась кровь и сердце чуть не разорвалось. Девочка почувствовала себя бездушной пустышкой, ей стало тошно, и она так стиснула отцовские пальцы, что он не без досады высвободил руку со словами:

— Что это с тобой? Изволь успокоиться.

Дядя Габриэл стоял и ждал их, он был совершенно пьян. Он последил, как кобылку ввели в денник, потом прислонился к изгороди и, ничуть не стесняясь, всхлипнул.

— У нее идет кровь носом, Гарри, — сказал он. — Еще со вчерашнего дня. Мы-то думали, что привели ее в форму. А все-таки она пришла первой. Отважное сердце. Я пушу ее на племя, Гарри. Такой отваге цены нет. — Слезы бежали по его багровым щекам и терялись в растрепанных усах. — Если с ней теперь что-нибудь стряется, я всажу себе пулю в лоб. Она моя последняя надежда. Она спасла мне жизнь. У меня была такая полоса, — простонал он, утирая лицо огромным носовым платком, — уж так мне везло, что хоть бейся головой о стену. О господи, Гарри, пойдем куда-нибудь выпьем.

— Сначала я должен отвезти детей обратно в школу, — сказал отец и взял Марию и Миранду за руки.

— Нет-нет, не уходи, — взмолился дядя Габриэл. — Подожди здесь минутку, я только поговорю с ветеринаром, взгляну на Мисс Люси и сейчас же вернусь. Ради всего святого, не уходи, Гарри. Мне надо с тобой потолковать.

Мария и Миранда смотрели, как он тяжелой, неверной походкой идет прочь, и думали — это впервые они видят знакомого человека пьяным. Раньше они видели картинки, читали и слышали, как выглядят пьяные, и сразу узнали приметы. Миранда решила, что это во многих отношениях очень важная минута.

— Дядя Габриэл пьяница, правда? — не без гордости спросила она отца.

— Ш-ш, не говори глупостей, не то я никогда больше тебя сюда не возьму.

Отец сурово сдвинул брови. Казалось, он и встревожен, и огорчен, а главное, растерян. Девочки чопорно застыли, оскорбленные такой явной несправедливостью. Отняли руки, отошли от отца и стали рядом, замкнувшись в холодном молчании. Отец ничего и не заметил, стоял и смотрел в ту сторону, где скрылся дядя Габриэл. Немного спустя тот вернулся, все еще вытирая лицо платком, будто паутину снимал; свой большой черный цилиндр он держал в руке. Подойдя ближе, он помахал брату и крикнул весело:

— Она поправится, Гарри. Кровь больше не идет. То-то мисс Хани обрадуется. Идем, Гарри, едем все ко мне и порадуем мисс Хани. Она заслужила добрую весть.

— Лучше я сначала отвезу девочек в школу, а потом поеду к тебе.

— Нет-нет, — растроганно сказал дядя Габриэл, — пускай она поглядит на твоих дочек. Она будет в восторге, Гарри. Возьмем их с собой.

— Нас повезут смотреть еще одну лошадку? — шепотом на ухо спросила Миранда сестру.

— Глупая, — сказала Мария. — Это вторая жена дяди Габриэла.

— Давай возьмем извозчика, Гарри, и повезем твоих малышек к мисс Хани, — сказал дядя Габриэл. — Развеселим ее. Обе вместе они очень похожи на Эми, право слово. Пускай мисс Хани на них поглядит. Она всегда любила нашу семью, Гарри, хотя, по правде сказать, не такая она женщина, чтоб выражать свои чувства.

Мария и Миранда сели лицом к кучеру, а дядя Габриэл втиснулся напротив, рядом с их отцом. От его дыхания сразу запахло кислым и душным. С виду он был жалкий, несчастный. Галстук повязан криво, рубашка мятая.

— Вы сейчас познакомитесь со второй женой дяди Габриэла, девочки, — сказал отец, будто до сих пор они ничего



не слышали, потом обратился к Габриэлу: — А как она теперь, твоя жена? Я ее, наверно, уже лет двадцать не видел.

— По правде сказать, она все хмурится, — сказал дядя Габриэл. — Она уже много лет все хмурится, и никак ее не развеселишь. Если помнишь, Гарри, она всегда была равнодушна к лошадям, уже сколько мы женаты, а она и трех раз даже близко к ипподрому не подошла. Как вспомню, Эми ни за что на свете не пропустила бы скачки... Хани ни капельки не похожа на Эми, совсем другого сорта женщина. На свой лад превосходная женщина, Гарри, но не выносит никаких перемен и переездов и только и живет что нашим мальчиком.

— А где сейчас Гейб? — спросил отец.

— Кончает колледж, — ответил дядя Габриэл. — Он умница, но весь в мать, прямо до жути. Прямо до жути. — Это прозвучало очень печально. — Ей тошно жить с ним врозь. Одного ей хочется — сидеть в том же городе, где он, и ждать, пока он не закончит учебу. Ну, мне, конечно, жалко, что нельзя сделать, как ей хочется, но боже милостивый... А та последняя полоса невезенья чуть ее не доконала. Надеюсь, ты сумеешь немного ее развеселить, Гарри, ей это вот как нужно.

Девочки смотрели по сторонам, улицы, по которым они ехали, становились все скучней, бесцветней и уже, а белые прохожие на них выглядели все более убого, наконец их сменили разряженные негры, а потом и убого одетые негры, и долго спустя коляска остановилась на Елисейских полях перед унылой маленькой гостиницей. Отец помог девочкам сойти, велел извозчику ждать, и они пошли за дядей Габриэлом через грязный, пахнущий сыростью внутренний двор и дальше в длинный, освещенный газовыми рожками ужасно вонючий коридор — Миранда не могла разобрать, чем там пахнет, но даже во рту стало горько, — и поднялись по длинной лестнице, дорожка на ней была истерта до дыр. Дядя Габриэл без предупреждения распахнул какую-то дверь.

— Входите, — сказал он, — вот мы и дома.

Со скрипучего кресла-качалки порывисто встала высокая бледная женщина с тусклыми соломенного цвета волосами и красными веками. На ней была блузка в белую и синюю полоску и черная юбка из какой-то жесткой блестящей материи, все строгое, чопорное. При виде посетителей она подняла большие узловатые руки, проверяя, аккуратны ли волосы, гладко зачесанные со лба и уложенные à la pompadour.

— Х а н и , — оживленно, наигранно весело заговорил дядя Габриэл, — угадай, кто к тебе пришел! — И он неуклюже обнял жену. Она в упор посмотрела на вошедших, выражение ее лица не изменилось. — Это Гарри, брат Эми, ты ведь его помнишь?

— Да, конечно, — она протянула руку дощечкой. — Конечно, я вас помню, Гарри.

Однако она не улыбнулась.

— А это Эмины племяшки.

Дядя Габриэл подвел к ней девочек. Мисс Хани взялась за нерешительно протянутые руки и мигом их выпустила.

— Мы принесли тебе хорошие новости, — продолжал дядя Габриэл, пытаясь разрядить неловкое молчание. — Мисс Люси нынче разогналась и показала себя, Хани. Выше голову, старушка, мы опять разбогатели.

Мисс Хани обратила к гостям длинную тоскливую физиономию.

— Садитесь, — вымолвила она с тяжелым вздохом, села сама и показала им на разномастные шаткие стулья. В комнате стояла еще широкая, вся в буграх кровать, застланная сероватым покрывалом — когда-то оно было белое, — и умывальник под мраморной доской; на двух окошках натянуты на тесемках дешевые кружевные занавески, тоже сероватые; в небольшой изразцовой печи отверстие для дымохода, у стены небрежно приткнуты два чемодана, словно кто-то сюда только что въехал или с минуты на минуту отсюда выедет. Все убого, тускло, аккуратно и голо, ни единой мелочи не на месте.

— Завтра же мы переезжаем в Сент-Чарлз, — сообщил дядя Габриэл сразу и жене и Гарри. — Собери свои лучшие

платья, Хани, худая пора миновала.

Мисс Хани поджала губы, скрестила руки на груди, слегка откинулась в качалке.

— Мне уже приходилось жить в Сент-Чарлзе и приходилось жить здесь, и уж больше я с места не двинусь, благодарю покорно, — сухо, с нажимом ответила она. — Чем возвращаться сюда через три месяца, предпочитаю остаться. Я уже привыкла, здесь я д о м а, — договорила она, бросив беглый взгляд на Гарри; в блеклых глазах ее вспыхнул недобрый огонек, она так плотно сжала губы, что их обвело белой чертой.

Девочкам было до отчаяния неловко, они старательно отводили глаза. Бабушка уверяла, что не видывала на своем веку детей, которым так трудно что-либо втолковать, как дочкам Гарри; однако один урок, хоть и преподанный косвенно, они усвоили прочно: приличные люди не ссорятся перед посторонними. Семейные ссоры священны, их ведут скрытно, яростным свистящим шепотом, придушенным отрывистым бормотаньем, негромко ворча. А если уж вопят и топают ногами, так непременно за наглухо закрытыми дверями и окнами. Вторая жена дяди Габриэла взбешена, того и гляди набросится на него, а он сидит как собака, на которую замахиваются плетью.

«Она ненавидит и презирает всех нас, и притом боится, вдруг мы этого не поймем, — холодно подумала Миранда. — Напрасно беспокоится, мы это с первой минуты поняли». Хоть бы скорей отсюда уйти, но отец не двигается с места, хотя лицо у него стало такое — есть на что посмотреть. Видно, никак не придумает, что бы сказать приятное. Мария, сама не зная почему, чувствовала себя виноватой и наскоро соображала про себя: «Да ведь она вторая жена дяди Габриэла, только и всего, а дядя Габриэл был раньше женат на тете Эми, только и всего, так, слава богу, никакая она нам не родня». И Мария села свободнее, стиснутые руки разжались, спокойно легли на колени: конечно же, через несколько минут мы все трое отсюда уйдем и никогда больше не вернемся.

А потом отец сказал:

— Не будем вас задерживать, мы только на минутку заглянули. Хотели посмотреть, как вы живете.

Мисс Хани не ответила, только чуть развела ладони, будто хотела сказать: ну вот и посмотрели, как я живу, а дальше что?

— Я должен отвезти девочек обратно в школу, — прибавил отец.

И дядя Габриэл сказал очень глупо:

— Как по-твоему, Хани, похожи они немножко на Эми? Особенно Мария, особенно есть сходство в глазах, как по-твоему, Гарри?

Отец быстро глянул на Марию, потом на Миранду.

— Трудно сказать... — Девочки поняли, что теперь он уж вовсе смущен и растерян. Он повернулся к мисс Хани: — Я столько лет не видел Габриэла... мы думали немного поговорить, вспомнить старые времена. Знаете, как это бывает.

— Да, знаю, — ответила мисс Хани, слегка покачиваясь в кресле, и это ее знание сверкало мертвенным огнем такой неистощимой ненависти и горечи, что казалось, сейчас она, худая, долговязая, в ярости взовьется с скачки. — Я знаю, — повторила она и уставилась в пол. Губы ее дрогнули, потом плотно сжались. Настала гнетущая тишина, ее нарушил отец — он поднялся. Девочки сразу тоже встали, они с трудом сдержались, чтобы не кинуться со всех ног к двери.

— Я должен их отвезти, — повторил отец. — Хватит с них на сегодня впечатлений. Они ставили на Мисс Люси и выиграли по сто долларов каждая. Очень хороши были скачки, — закончил он, совсем расстроенный, он явно никак не мог выпутаться из неловкого положения. — Ведь правда, Габриэл?

— Великолепные скачки, — с убитым видом подтвердил дядя Габриэл. — Великолепные.

Мисс Хани поднялась и шагнула к двери.

— Вы что же, в самом деле возите их на скачки? — спросила она и прищурилась на девочек, будто на каких-то

мерзких насекомых (так подумалось Марии).

— Да, когда они заслуживают небольшого развлечения, — сказал отец словно бы непринужденно, но при этом нахмурился.

— Я предпочла бы, да, я бы предпочла, чтобы мой сын упал мертвым к моим ногам, чем болтался бы у ипподрома, — отчеканила мисс Хани.

Несколько минут они не могли опомниться, но наконец всё позади, они спускаются по лестнице, проходят внутренним двором, дядя Габриэл провожает их до извозчика. Он осунулся, лицо увядшее, словно плоть сползла с костей, веки опухли и посинели.

— До свиданья, Гарри, — говорит он совсем трезво. — Долго ты пробудешь в городе?

— Завтра уезжаю, — отвечает Гарри. — У меня тут было одно дело, да еще вот девочек навещал.

— Что ж, — говорит дядя Габриэл, — может, я вскорости попаду в ваши края. До свиданья, детки, — и он огромными теплыми лапищами пожимает руки Миранде и Марии. — Славные у тебя девочки, Гарри. Я рад, что вы поставили на Мисс Люси и выиграли, — ласково говорит он им. — Только не потратьте деньги на ерунду. Ну, до скорого, Гарри.

Коляска, подсакивая на выбоинах, покатила прочь, а он все стоял, толстый, обмякший, и прощально махал им вслед.

Мария сняла шляпу, положила на колени.

— О господи, — сказала она самым взрослым своим тоном, — как я рада, что с этим покончено.

— Нет, я хочу знать, дядя Габриэл и правда настоящий пьяница? — осведомилась Миранда.

— Помолчите, — сердито оборвал отец. — У меня изжога.

Девочки почтительно присмирели, точно перед памятником какой-нибудь знаменитости. Когда у отца изжога, надо быть тише воды, ниже травы. Экипаж, громыхая, покатил дальше, выехал на чистые, веселые улицы, где в ранних февральских сумерках уже зажигались фонари, мимо сияющих витрин, по гладким мостовым, дальше и

дальше, мимо красивых старых домов, окруженных садами, все дальше, дальше, к темным монастырским стенам, над которыми нависали густые кроны больших деревьев. Миранду так одолели раздумья, что она совсем забылась и, по своему обыкновению, неосторожно лягнула:

— Все-таки я решила, не буду я жокеем.

Как всегда, она чуть с досады не прикусила язык, но, как всегда, было уже поздно.

Отец повеселел и понимающе подмигнул Миранде, будто услышанное совсем для него не новость.

— Так-так, — сказал он. — Значит, в жокеи ты не пойдешь! Очень благоразумное решение. Я думаю, ей надо бы стать укротительницей львов, как по-твоему, Мария? Такое милое, чисто женское занятие.

Тут Мария вдруг переметнулась на сторону отца, с высоты своих четырнадцати лет она вместе с ним начала смеяться над сестрой, но Миранда мигом нашлась и тоже засмеялась над собой. Так лучше. Посмеялись все втроем — какое облегчение!

— А где мои сто долларов? — озабоченно спросила Мария.

— Положим их на текущий счет в банке, — сказал отец. — И твои тоже, Миранда. Будет вам запас на крайний случай.

— Только не надо на них покупать мне чулки, — сказала Миранда, ее давно не отпускала досада от того, как бабушка распорядилась деньгами, подаренными Миранде на рождество. — У меня уже столько чулок, за целый год не сносить.

— Мне хочется купить скаковую лошадь, — сказала Мария, — но ведь этого не хватает. — Она приуныла, не так уж велико это богатство. Сказала капризно: — Что особенного можно купить на сто долларов?

— Ровно ничего, — сказал отец. — Сто долларов просто деньги, которые кладут на текущий счет.

И Марии с Мирандой стало нелюбопытно. Ну, было дело, выиграли они по сто долларов на скачках. Это уже далекое прошлое. Они принялись болтать о другом.

Послушница выглянула из-за решетки и, потянув длин-

ный шнур, отворила им дверь; Мария с Мирандой молча вступили в хорошо знакомый мир натертых до блеска голых полов и здоровой пресной пищи, умыванья холодной водой и обязательных молитв в назначенные часы; в мир бедности, целомудрия и смирения, раннего укладыванья в постель и раннего вставания, строгих мелочных правил и мелких сплетен. На лицах девочек выразилась покорность судьбе, они подставили отцу щеки для поцелуя.

— Будьте умницами, — сказал он странно серьезно, почти беспомощно, как всегда, когда он с ними прощался. — Да смотрите пишите своему папочке славные длинные письма.

Он быстро, крепко обнял их — одну, потом другую. И ушел, и послушница затворила за ним дверь.

Мария и Миранда поднялись в спальню: надо вымыть перед ужином лицо и руки и пригладить волосы. Миранда порядком проголодалась.

— Мы так ничего и не ели, — проворчала она. — Хоть бы шоколадку с орехами погрызть. Бессовестные. Хоть бы дали по двадцать пять центов, купить чего-нибудь.

— Ни крошки, — подтвердила Мария. — Даже десяти центов не дали.

Она налила в таз холодной воды и закатала рукава.

Вошла еще девочка, примерно ее ровесница, и направилась к умывальнику возле другой кровати.

— Где вы были? — спросила она сестер. — Весело провели время?

— Ездили с отцом на скачки, — ответила Мария, намазывая руки.

— Лошадь нашего дяди пришла первой, — сказала Миранда.

— Да ну, — неопределенно отозвалась та девочка. — Наверно, это было замечательно.

Мария взглянула на сестру, Миранда тоже закатывала рукава. Она старалась почувствовать себя мученицей, но ничего не получилось.

— Заточены еще на неделю, — сказала она, и глаза ее весело блеснули над краем полотенца.

### Часть III. 1912

Миранда шла за проводником по душному коридору спального вагона, где почти все полки были опущены и пыльные зеленые занавески аккуратно пристегнуты, к месту в дальнем конце.

— Постель, она постланная, мисс, разом уснете, — сказал негр-проводник.

— А я еще хочу так посидеть, — возразила Миранда.

Соседка по купе, старая и очень тощая, с откровенным неодобрением уставилась на нее злыми черными глазами. Из-под верхней губы у этой старой дамы торчали два огромных зуба, а подбородок отсутствовал, однако характер был явно волевой. Она сидела, укрываясь за своими чемоданами и прочим багажом как за баррикадами, и злобно глянула на проводника, когда он сдвинул что-то из ее вещей, освобождая место для новой пассажирки. Миранда села.

— Вы разрешите? — машинально сказала она.

— Как не разрешить! — сказала старуха (хотя от нее исходила какая-то ершистая, суматошная живость, она выглядела именно старухой. При каждом ее движении нижние юбки из жесткой тафты скрипели, как несмазанные петли). — Разрешаю, сделайте одолжение, слезьте с моей шляпы!

Миранда в испуге вскочила и подала старой даме помятое черное сооружение, сплетенное из конского волоса и искалеченных белых маков.

— Извините ради бога, — заикалась она; ее с детства приучили относиться к свирепым старым дамам почтительно, а эта, похоже, способна тут же, сию минуту ее отшлепать. — Я и думать не думала, что это ваша шляпа.

— А вы думали, чья еще она может быть? — осведомилась старуха, оскалив зубы, и завертела шляпу на пальце, стараясь ее расправить.

— Я вообще не поняла, что это шляпа, — сказала Миранда; она еле сдерживалась, вот-вот расхохочется.



— Ах, вы не поняли, что это шляпа? Где ваши глаза, деточка? — И в доказательство, что сие за предмет и для чего предназначен, старуха лихо, набекрень, напялила его на голову, однако на шляпу это все равно было не очень-то похоже. — Ну, теперь видите?

— Да, конечно, — промолвила Миранда кротко: может быть, кротость обезоружит соседку.

И осмелилась снова сесть, осторожно оглядев сперва оставленный ей уголок дивана.

— Ну-ну, — сказала старуха, — позовем проводника, пускай расчистит тут немного места.

И тощим острым пальцем ткнула в кнопку звонка.

Последовала торопливая перетасовка багажа, причем обе пассажирки стояли в коридоре и старуха отдавала негру самые нелепые распоряжения, а он, с философским терпением их выслушивая, расставлял ее вещи так, как считал нужным. Потом обе снова уселись и старая дама спросила властно и снисходительно:

— Так как же вас зовут, деточка?

Услышав ответ, она прищурилась, достала очки, привычно насадила их на свой огромный нос и стала пристально разглядывать попутчицу.

— Будь я прежде в очках, я бы сразу поняла, — сказала она на удивленье изменившимся тоном. — Я твоя родственница Ева Паррингтон. Дочь Молли Паррингтон, помнишь ее? Я тебя знала маленькой. Ты была очень бойкая девчурка, — прибавила она словно бы в утешение Миранде, — и очень своевольная. Когда я в последний раз про тебя слышала, ты собиралась стать циркачкой и ходить по проволоке. Сразу и на скрипке играть, и ходить по проволоке.

— Наверно, я видела какое-нибудь такое представление и е, — сказала Миранда. — Сама я не могла это изобрести. Теперь я хотела бы стать авиатором!

Кузина Ева поглощена была другими мыслями.

— Я ездила на балы с твоим отцом и во время каникул бывала на больших приемах в доме твоей бабушки задолго

до твоего рождения, — сказала она. — Да, что и говорить, давно это было.

В памяти Миранды разом встрепенулось многое. Тетя Эми грозилась остаться старой девой вроде Евы. Ох, Ева, беда с ней, у нее нет подбородка. Ева уже ни на что не надеется, пошла в учительницы, преподает латынь в женской семинарии. Спаси господи Еву, она теперь ратует за право голоса для женщин. Вот что мило в дочери-уродине — она не способна сделать меня бабушкой... «Мало толку для вас вышло от всех этих балов и приемов, дорогая кузина Ева», — подумалось Миранде.

— Мало толку для меня вышло от всех этих балов да приемов, — сказала кузина Ева, будто прочитав мысли Миранды, и у той на мгновение даже голова закружилась от страха: неужели она думала вслух? — По крайней мере, цели они не достигли, замуж я так и не вышла. Но все равно мне там бывало весело. Хоть я и не была красавицей, а удовольствие получала. Так, значит, ты дочка Гарри, а я сразу начала с тобой ссориться. Ведь ты меня помнишь, правда?

— Помню, — сказала Миранда и подумала: хоть кузина Ева уже десять лет назад была старой девой, сейчас ей не может быть больше пятидесяти, а на вид она уж до того увядшая, усталая, какая-то изголодавшаяся, щеки ввалились, какая-то уж до того старая... Миранда посмотрела на Еву через бездну, что отделяла кузину от ее, Мирандиной, юности, и ждалась от леденящего предчувствия: неужели и я когда-нибудь стану такая? А вслух сказала: — Помню, вы читали мне по-латыни и говорили не думать о смысле, просто усвоить, как это звучит, и потом будет легче учиться.

— Да, так я и говорила, — обрадовалась кузина Ева. — Так я и говорила. А ты случайно не помнишь, когда-то у меня было красивое бархатное платье сапфирового цвета, с тренем?

— Нет, платья такого не помню, — сказала Миранда.

— Это было старое платье моей матери, только перешитое на меня, и совсем оно мне не шло, но это одно-единст-

венное хорошее платье за всю мою жизнь, и я его помню, как будто это было вчера. Синее никогда не было мне к лицу.

Она вздохнула с горьким смешком. Смешок был мимолетный, а горечь явно — постоянное состояние ее духа.

Миранда попыталась выразить сочувственное понимание.

— Я з н а ю , — сказала о н а . — Для меня перешивали платья Марии, на мне они всегда сидели не так, как надо. Это было ужасно.

— Н у - с , — по тону кухни Евы ясно было, что ее разочарования единственны в своем роде и ни с чьими больше не сравнятся, — а как твой отец? Он всегда мне нравился. На редкость был красивый молодой человек. И хвастун, как все в его семействе. Ездил только на самолучших дорогих лошадях, я всегда говорила — он гарцует, а сам любит собственную тень. Я всегда на людях так говорила, и он меня за это терпеть не мог. Я ничуть не сомневалась, что он меня терпеть не м о ж е т . — Нотка самодовольства лучше всяких слов давала понять, что у кухни Евы имелся свой способ привлекать внимание и увлекать слушателей. — Но ты мне не ответила, как же поживает твой отец, милочка?

— Я уже почти год его не видела , — сказала Миранда и, прежде чем кухня Ева пустилась в дальнейшие разглагольствования, поспешно продолжала: — Я сейчас еду домой на похороны дяди Габриэла; знаете, дядя Габриэл умер в Лексингтоне, но его оттуда перевезли и похоронят рядом с тетей Эми.

— Так вот почему мы встретились. Да, Габриэл наконец допился до смерти. Я тоже еду на эти похороны. Я не бывала дома с тех пор, как приезжала хоронить маму, это значит, постой-ка, ну да, в июле будет девять лет. А вот на похороны Габриэла еду. Такой случай пропустить нельзя. Бедняга, ну и жизнь у него была. Скоро уже их никого в живых не останется.

— Остаемся мы, кухня Е в а , — сказала Миранда, имея в виду свое поколение, молодежь.

Кузина Ева только фыркнула:

— Вы-то будете жить вечно, и уж вы не потрудитесь ходить на наши похороны.

Похоже, это ее нимало не огорчает, просто она привыкла резать напрямик, что думает.

«Все-таки, наверно, из любезности надо бы сказать что-нибудь такое, чтоб она поверила, что ее и всех стариков будут оплакивать, — размышляла Миранда, — но... но...»

Она улыбнулась в надежде этим выразить несогласие с нелестным взглядом кузины Евы на младшее поколение.

— А насчет латыни вы были правы, кузина Ева, — прибавила она. — То, что вы тогда мне читали вслух, и правда мне потом помогло ее учить. Я еще учусь. И латынь тоже изучаю.

— А почему бы и нет? — резко спросила кузина Ева и тут же прибавила кротко: — Я рада, что ты собираешься шевелить мозгами, деточка. Не дай себе пропасть напрасну. Работа мысли остается при нас дольше любого другого увлечения, ею наслаждаешься и тогда, когда все прочее уже отнято.

Это прозвучало так печально, что Миранда похолодела. А кузина Ева продолжала:

— В мое время в наших краях царили уж до того провинциальные нравы, женщина просто не смела мыслить и поступать самостоятельно. Отчасти так было во всем мире, но у нас, думаю, хуже всего. Ты, наверно, знаешь, я воевала за право голоса для женщин, и меня тогда чуть не изгнали из общества... меня уволили, не дали больше преподавать в семинарии, но все равно я рада, что воевала за наши права, и, случись начать все сызнова, поступила бы так же. Вы, молодежь, этого не понимаете. Вы будете жить в лучшем мире, потому что мы для вас постарались.

Миранде кое-что было известно о деятельности кузины Евы. И она сказала от души:

— По-моему, вы очень храбрая, и я рада, что вы так поступали. Я восхищаюсь вашим мужеством.

Кузина Ева с досадой отмахнулась от похвалы:

— Пойми, мы вовсе не геройствовали напоказ. Всякий

дурак может быть храбрым. Мы добивались того, что считали справедливым, и оказалось, что для этого нужно немало мужества. Только и всего. Я совсем не жаждала попасть в тюрьму, но меня сажали три раза, и, если понадобится, я еще трижды три раза сяду. Мы пока не получили права голоса, но мы его получим.

Миранда не осмелилась ответить, но подумала: наверняка женщины очень скоро станут голосовать, если только с кухни Евой не стрясется какая-нибудь непоправимая беда. Что-то в ее повадке не оставляет сомнений — в таких делах на нее вполне можно положиться. Миранда загорелась было: может, и ей присоединиться к борьбе, в такой героической борьбе стоит и пострадать, — правда, кое-что расхлябывает, после кухни Евы подвига уже не совершить, пальма первенства остается за нею.

Несколько минут обе молчали, кухня Ева рылась в сумочке, извлекала из нее всякую всячину: мятные леденцы, глазные капли, игольник, три носовых платка, пузырек с духами «Фиалка», две пуговицы — белую и черную — и, наконец, порошки от головной боли.

— Принеси мне стакан воды, деточка, — попросила она Миранду. Высыпала порошок на язык, запила водой и сунула в рот сразу два мятных леденца. — Так, значит, Габриэла похоронят возле Эми, — сказала она немного погодя, словно, когда отпустила головная боль, мысли ее приняли новое направление. — То-то было бы приятно бедняжке мисс Хани, знай она об этом. Двадцать пять лет кряду она только и слышала что про Эми, а теперь должна лежать одна в могиле в Лексингтоне, а Габриэл улизнул в Техас и опять укладывается под боком у Эми. Это была совсем особенная неверность всю жизнь, а теперь венец всему — вечная неверность на том свете. Постыдился бы.

— Тетю Эми он любил, — сказала Миранда. — По крайней мере, она была его первая любовь.

И подумала: а какой была мисс Хани прежде, чем потянулись долгие годы ее маеты с дядей Габриэлом?

— Ох уж эта Эми! — Глаза кухни Евы сверкнули. — Твоя

тетя Эми была чертовка, сущее наказание, а все равно я ее любила. Я за нее вступалась, когда ее репутация гроша ломаного не стоила, — старуха щелкнула пальцами, точно кастаньетами. — Бывало, она мне говорит так весело, ласково: «Смотри, Ева, когда мальчики приглашают тебя танцевать, не рассуждай о праве голоса для женщин. И не декламируй им латинскую поэзию, она им и в школе надоела до смерти. Танцуй, Ева, и помалкивай». Говорит, а у самой в глазах чертики. «И держи голову выше, докажи, что у тебя есть воля, хоть и нет подбородка». Понимаешь, подбородок — мое уязвимое место. «Гляди в оба, не то не бывать тебе замужем». Скажет так, расхохочется и летит прочь, а до чего долеталась? — жестко спросила кузина Ева и колючими глазами словно пригвоздила Миранду к горькой истине: — До позора и смерти, вот чем кончилось.

— Она просто шутила, кузина Ева, — простодушно сказала Миранда, — и ее все любили.

— Далеко не все, — с торжеством возразила Ева. — У нее хватало врагов. Если она о них знала, так не подавала виду. Если ее это и задевало, она ни словечком не обмолвилась. С ней невозможно было поссориться. Она со всеми была слаще меда. Со всеми, — подчеркнула Ева, — вот в чем беда. Она всю жизнь прожила балованной, всеобщей любимицей, делала что хотела, а другие изволь из-за нее мучиться и расплачиваться за ее грехи. Ни минуты я не верила, — кузина Ева наклонилась к Миранде, жарко дыша ей прямо в ухо запахом своих излюбленных мятных леденцов, — не верила я, что Эми женщина порочная. Нет! Но разреши тебе заметить, многие так считали. Многие жалели бедняжку Габриэла за то, что она обвела его вокруг пальца. Очень многие ни капельки не удивились, когда услышали, что во время медового месяца в Новом Орлеане Габриэл был глубоко несчастен. Ревновал. А почему бы и нет? Но я всегда говорила таким людям — как бы Эми по видимости себя ни вела, а я верю в ее добродетель. Она необузданная, говорила я, и нескромная, и бессердечная, но, ручаюсь, она добродетельна. Ну, а кто на этот счет заблуждался, тех тоже не

упрекнешь. Сколько лет она отказывала Габриэлу Броуксу, обращалась с ним хуже некуда, а потом вдруг, чуть не со смертного одра, выскочила за него замуж... это, знаете ли, по меньшей мере странно. По меньшей мере, — прибавила Ева, минуту помолчав, — и «странно» это еще очень мягко сказано. И как-то загадочно и непонятно она умерла всего через полтора месяца после свадьбы.

Тут Миранда вскинулась. Эта часть семейной истории ей известна, сейчас она кузине Еве все растолкует:

— Эми умерла от кровотечения из легких. Она болела целых пять лет, неужели вы забыли?

Кузина Ева ничуть не смутилась:

— Ха, еще бы, именно так это и преподносили. Можно сказать, версия для широкой публики. Да-да, я сколько раз это слышала. А вот слышала ли ты, что был такой Раймонд Как-бишь-его из Калкасье, чуть ли не иностранец, в один прекрасный вечер он уговорил Эми улизнуть с ним с танцев, и она сбежала в темноте, даже плащ не захватила, и бедному милому Гарри, твоему папочке (о тебе тогда никто еще и не думал), пришлось помчаться в погоню и пристрелить его?

Поток слов захлестывал с таким напором, что Миранда откачнулась.

— Кузина Ева, неужели вы забыли — папа только стрелял в этого Раймонда. И даже не ранил...

— Вот это очень жаль.

— ...и они просто вышли между танцами подышать свежим воздухом. А дядя Габриэл был ревнивый. И папа стрелял в того человека, чтобы не дать дяде Габриэлу драться на дуэли из-за тети Эми. Ничего плохого в той истории не было, просто дядя Габриэл был ревнивый.

— Бедное дитя, — сказала кузина Ева, и от жалости ее глаза блеснули, точно два кинжала, — бедное наивное дитя, ты что же... ты веришь в эту сказку? Кстати, сколько тебе лет?

— Уже исполнилось восемнадцать.

— Если ты еще не понимаешь того, что я говорю, так поймешь позже, — с важностью произнесла кузина Ева. —

Знание тебе пойдет на пользу. Не годится смотреть на жизнь сквозь романтические розовые очки. Когда выйдешь замуж, ты уж во всяком случае поймешь.

— Я уже замужем. — Едва ли не впервые Миранда почувствовала, что это дает ей преимущество. — Почти год замужем. Я сбежала из школы.

Сказала она так — и самой показалось: это неправдоподобно и никак не связано с ее, Миранды, будущим; и, однако, это важно, об этом надо заявить во всеуслышание, окружающим почему-то непременно нужно, чтобы ты была замужем, а вот сама ощущаешь только безмерную усталость, словно это болезнь, от которой, быть может, когда-нибудь все-таки излечишься.

— Стыд и срам! — с неподдельным отвращением воскликнула кузина Ева. — Будь ты моя дочка, я тебя вернула бы домой и хорошенько отшлепала.

Миранда рассмеялась. Похоже, Ева убеждена, что таким способом можно все на свете уладить. До чего она напыщенная и свирепая, до чего бестолкова и смешна.

— И к вашему сведению, я сразу бы опять сбежала, — поддразнила Миранда. — Выскочила бы из ближайшего окошка. Если сделано один раз, почему бы не сделать и во второй?

— Да, пожалуй, — сказала кузина Ева. — Надеюсь, ты вышла за состоятельного человека.

— Не очень, — сказала Миранда. — В меру.

Как будто об этом успеваешь подумать!

Кузина Ева поправила очки и придирчиво осмотрела платье Миранды, ее чемодан, ее кольца — свидетельства помолвки и свадьбы; у Евы даже ноздри вздрагивали, словно она принюхивалась к запаху богатства.

— Ну, это лучше, чем ничего, — сказала она. — Я каждый день благодарю бога, что у меня есть кое-какие средства. Это основа основ. Хороша бы я была, не будь у меня ни гроша за душой. Что ж, теперь ты сможешь понемногу помогать родным.

Миранде вспомнилось, что она всегда слышала про Пар-



рингтонов. Отчаянно жадны до денег, ничего, кроме денег, не любят и уж если сколько-нибудь заполучат, так нипочем с ними не расстанутся. Когда дело касается денег, родственные чувства у Паррингтонов не в счет.

— Мы-то бедны, — сказала Миранда, упрямо причисляя себя к отцовскому роду, а не к мужнину, — но брак с богатым не выход из положения, — прибавила она с высокомерием истинной бедности. И dokonчила мысленно: а если вы воображаете, что это выход, милейшая кузина, вы ровно ничего не понимаете в нашей ветви семейства.

— В вашей ветви семейства, — сказала кузина Ева, снова устрашая Миранду способностью читать чужие мысли, — никто ничего не смыслит в житейских делах, сущие младенцы. Всё на свете готовы отдать за любовь. — Она скривилась так, будто ее сейчас стошнит. — Габриэл стал бы богачом, если бы дед не лишил его наследства, но разве у Эми хватило ума выйти за него замуж, чтобы он остепенился и угодил старику? Куда там! А что Габриэл мог поделаться без денег? Видели бы вы, какую жизнь он устроил своей мисс Хани — сегодня покупает ей платье от парижского портного, а завтра отдает в заклад ее серьги. Все зависело от того, как пройдут на скачках его лошади, а они скакали все хуже, и Габриэл пил все больше.

Миранда не сказала: я тоже кое-что такое видела. Она попыталась представить себе мисс Хани в платье от парижского портного. А сказала другое:

— Но дядя Габриэл так безумно любил тетю Эми, не могла она в конце концов не выйти за него, и ни при чем тут деньги.

Кузина Ева старательно поджала губы, тотчас опять оскандилась, подалась к Миранде и ухватила ее за руку повыше локтя.

— Я над одним ломаю голову, над одним без конца ломаю голову, — зашептала она. — Какая связь между тем Раймондом из Калкасье и скоропалительным браком Эми с Габриэлом, и отчего, отчего она потом так скоро покончила с собой? Потому что, помяни мое слово, деточка, Эми вовсе не так

уж была больна. Доктора сказали, что у нее слабые легкие, а она после этого сколько лет вела жизнь самую легкомысленную. Она покончила с собой, чтобы избежать позора, потому что ей грозило разоблачение.

Черные глазки-бусинки сверкают; лицо кузины Евы придвинулось так близко и такая в нем одержимость, что страх берет. «Перестаньте, — хотела бы сказать Миранда. — Не троньте покойницу. Что плохого сделала вам Эми?» Но она оробела, растерялась; рассказ кузины Евы, эти ужасы и мрачные страсти словно недобрым колдовством что-то будоражат в тайниках души. Какова же развязка?

— Она была шалая, непутевая девчонка, но я к ней относилась с нежностью до самого конца, — сказала кузина Ева. — Она каким-то образом попала в беду и уже не могла выпутаться, и у меня есть все основания думать, что она покончила с собой, наглоталась лекарства, которое ей давали после кровотечения. Если не так, тогда что, спрашивается, произошло?

— Не знаю, — сказала Миранда. — Откуда мне знать? — И прибавила, как будто этим все объяснялось: — Она была очень красивая. Очень красивая, все так говорят.

— Невсе, — решительно возразила кузина Ева и покачала головой. — Вот я никогда так не считала. С ней уж чересчур носились. Эми была недурна, но с чего они взяли, что она красивая? Не понимаю. В юности она была тощенькая, потом, на мой взгляд, слишком располнела, а в последний год опять стала совсем тощая. Но она вечно выставлялась напоказ, вот люди и глазели на нее. Верхом она ездила слишком лихо, танцевала слишком бойко, говорила слишком много, не заметить ее мог бы только слепой, глухой, и притом тупица. Не то чтобы она была криклива и вульгарна, нет, но она вела себя чересчур вольно.

Кузина Ева умолкла. Перевела дух и сунула в рот мятный леденец. Миранде представилось — вот кузина Ева ораторствует с трибуны и время от времени делает передышку ради мятного леденца. Но почему она так ненавидит Эми, ведь Эми умерла, а она жива? Жить — неужели этого мало?

— И в болезни ее тоже не было ничего романтического, — опять заговорила кузина Ева. — Хотя послушать их, так она увяла, точно лилия. А она харкала кровью — хороша романтика! Заставили бы ее как следует побережиться да потолковей ухаживали бы, когда болела, так она, может, и по сей день была бы жива. Но нет, куда там. Лежит, бывало, на диване, кутается в нарядные шали, кругом полно цветов, хочет — ест что попало, а не хочет — ничего не ест, после кровохарканья поднимется и скачет верхом или мчится на танцы, спит при закрытых окнах; и вечно толкутся гости, с утра до ночи смех да разговоры, а Эми сидит как на выставке, не приляжет, лишь бы кудри не помять. Да такая жизнь и здорового в могилу сведет. Вот я дважды была на волоске, и оба раза меня по всем правилам укладывали в больницу, и я лежала, пока не выздоровею. И я выздоравливала, — голос кузины Евы зазвучал подобно трубному гласу, — и опять принималась за работу.

«Красота проходит, характер остается», — шепнула Миранде прописная истина. Унылая перспектива; почему сильный характер так уродует человека? Заветное желание Миранды — быть сильной, но мыслимо ли на это решиться, когда видишь, какую это накладывает печать?

— У Эми был прелестный цвет лица, — говорила между тем кузина Ева. — Совершенно прозрачная кожа и яркий румянец. Но это от туберкулеза, а разве болезнь красива? И она сама погубила свое здоровье: когда ей хотелось ехать на бал, пила лимон с солью, чтобы прекратились месячные. На этот счет у девушек было дурацкое поверье. Воображали, будто молодой человек тронет тебя за руку или даже только посмотрит — и сразу поймет, что у тебя за нездоровье. Да не все ли равно? Но девицы в те времена были чересчур застенчивые и почитали мужчин весьма искушенными и мудрыми. Я-то считаю, что мужчина никогда не поймет... нет, все это глупости.

— По-моему, если у девушек нет средства получше, им надо бы оставаться дома, — заявила Миранда, чувствуя себя личностью весьма современной и умудренной опытом.

— Они не смели. Балы да танцы — это была их ярмарка, пропустить ее девушке опасно, всегда найдутся соперницы, только того и ждут, как бы перехватить поклонника. Соперничество... — Кузина Ева вздернула голову, вся напряглась, ни дать ни взять боевой конь почуял поле битвы. — Вам, теперешним, и не снится, что это было за соперничество. Как эти девицы поступали друг с другом... на самую низкую подлость были способны, на самый низкий обман...

Кузина Ева заломила руки.

— Это просто эротика, — с отчаянием сказала она. — Ни о чем больше они не думали. Так прямо не говорилось, прикрывали всякими красивыми словами, но это была просто-напросто эротика. — Она поглядела за окно, в темноту, увядшая щека, обращенная к Миранде, густо покраснела. И опять Ева обернулась к спутнице. Сказала гордо: — По зову долга я выступала с любой трибуны, хоть на улице, и, когда надо было, шла в тюрьму, и не смотрела, здорова я или больна. Оскорбления и насмешки, толчки и пинки сыпались на меня так, будто я богатырского здоровья. Но мы не позволяем телесным слабостям мешать нашей работе, это входит в наши убеждения. Ты понимаешь, о чем речь, — сказала она так, словно до сих пор это было тайной. — Ну вот, Эми поступала смелее других и как будто ничего даже не старалась отвоевать, но она просто была, как все, одержима эротикой. Вела себя так, будто нет у нее на свете соперниц, прикидывалась, будто и не знает, что за штука замужество, но меня не проведешь. Все они ни о чем другом не думали и думать не хотели, а на самом деле ничего не знали и не понимали, и внутри у них был тлен и разложение... разложение...

Миранда поймала себя на том, что опасливо следит за длинной вереницей живых трупов — изъеденные тленом женщины весело шагают к мертвецкой, распад плоти скрывают кружева и цветы, головы подняты, мертвые лица улыбаются... и она хладнокровно подумала: «Конечно, ничего подобного не было. Это такая же неправда, как то, что мне говорили прежде, и так же романтично». И она поняла,

что устала от напористой кузины Евы и хочет спать, хочет очутиться дома, пускай бы уже наступило завтра, скорей бы увидеть отца и сестру, они такие живые, такие надежные, они посмеются над ее веснушками и спросят, не голодная ли она.

— Моя мама была не т а к а я , — по-детски сказала о н а . — Моя мама самая обыкновенная женщина, она любила стряпать. Я видела вещи, которые она сшила. Я читала ее дневник.

— Твоя мама была с в я т а я , — машинально отозвалась кузина Ева.

Миранда, возмущенная, смолчала. «Никакая мама была не святая», — хотелось ей крикнуть в лицо Еве, в огромные, лопатами, передние зубы. А кузина Ева меж тем набралась злости и разразилась новой речью:

— Эми вечно мне твердила: «Выше голову, Ева, докажи, что хоть у тебя нет подбородка, но есть воля», — начала она и даже затрясла кулаками. — Всегда все родичи меня изводили из-за моего подбородка. Всю молодость мою отравили. Представляешь, что это за лю ди , — продолжала она с яростью, пожалуй чрезмерной для такого повода. — Называли себя воспитанными, а сами отравляли жизнь молоденькой девушке из-за одной некрасивой черточки! Ну конечно, сама понимаешь, они просто шутили, все просто очень забавлялись, это говорилось не в обиду, нет-нет, не в обиду. Вот в чем самая жестокость. Вот чего я не могу простить! — выкрикнула она, так сжимая руки, точно выкручивала тряпки. — Ох уж эта семья! — Она перевела дух и села свободнее. — Гнуснейшее установление, его надо бы стереть с лица земли. В семье корень всех наших несчастий , — dokonчила она, напряжение отпустило ее, и лицо стало спокойное. Однако она еще вся дрожала. Миранда взяла ее руку и задержала в своей. Рука трепыхнулась и замерла, и кузина Ева сказала: — Ты понятия не имеешь, что некоторым из нас пришлось пережить, но я хотела тебе показать обратную сторону медали. И заговорила я тебя, уже поздно, а тебе надо выспаться и встать наутро

свеженькой, — хмуро закончила она и зашевелилась, громко шурша нижними юбками.

Миранду и правда одолела слабость, она собралась с духом и встала. Кузина Ева опять протянула руку и привлекла Миранду к себе:

— Спокойной ночи, деточка. Подумать только, ты уже совсем взрослая.

Миранда чуть поколебалась и вдруг поцеловала ее в щеку. Черные глазки на мгновение влажно блеснули, и в громком, резком голосе кузины Евы — голосе привычного оратора — послышалась теплая нотка:

— Завтра мы опять будем дома, предвкушаю с удовольствием, а ты? Спокойной ночи.

Миранда уснула, даже не успев толком раздеться. И внезапно оказалось — уже утро. Она еще силилась закрыть чемодан, когда поезд подошел к их маленькой станции, и вот на перроне отец, лицо у него усталое и озабоченное, шляпа надвинута на самые брови. Миранда постучала по оконному стеклу, чтобы он ее заметил, потом выбежала вон и кинулась ему на шею.

— Ну, вот и моя большая дочка, — сказал он, будто ей все еще семь лет.

И при этом отстранил ее, и голос прозвучал натянуто. Отец не рад ее видеть, он никогда ей не радовался с тех пор, как она сбежала из дому. Миранде никак не удавалось убедить себя, что так оно и будет; хоть и знала, но за время от одного приезда домой до другого не умела с этим примириться. Отец посмотрел поверх ее головы, сказал без удивления:

— А, Ева, здравствуй, я рад, что кто-то тебе телеграфировал.

Опять Миранда почувствовала, что ее оттолкнули, опять уронила руки, вскинутые для объятия, опять глухой болью сжалось сердце.

— Никто из моих родных за всю мою жизнь мне не телеграфировал, — сказала Ева, лицо ее теперь обрамляла жидкая черная вуаль, видимо сберегаемая нарочно для се-

мейных похорон. — Я узнала о случившемся от Кези-младшей, а та узнала от Габриэла-младшего. Гейб, надо полагать, уже приехал?

— Кажется, все съехались, — сказал отец Миранды. — В доме полно народу.

— Если угодно, я остановлюсь в гостинице.

— Да нет же, черт возьми. Я совсем не то имел в виду. Ты поедешь с нами, твое место у нас.

Скид, работник, подхватил их чемоданы и зашагал по каменистой улице поселка.

— У нас теперь есть машина, — сказал отец.

Он взял Миранду за руку, сразу ее выпустил и хотел было поддержать кузину Еву под локоть. Та увернулась:

— Благодарю, я в подпорках не нуждаюсь.

— Господи помилуй, какая независимость! Что-то с нами будет, когда вы добьетесь права голоса.

Кузина Ева откинула с лица вуаль. И весело улыбнулась. Она любит Гарри, всегда любила, пускай он сколько угодно ее дразнит. Она взяла его под руку:

— Итак, для бедняжки Габриэла все кончено, а?

— Да, теперь уже все кончено, — сказал отец Миранды. — Старики один за другим отправляются к праотцам. Видно, приходит черед нашего поколения, Ева?

— Не знаю, и меня это не волнует, — небрежно ответила Ева. — А славно иногда заглянуть домой, Гарри, хотя бы и на похороны. Грех радоваться, а я рада.

— Ну, Габриэл бы не обиделся, ему приятно было бы видеть тебя веселой. Когда мы были молоды, он был отчаянный весельчак, я другого такого не видывал. Для Габриэла вся жизнь была сплошная увеселительная прогулка.

— Бедняга, — сказала кузина Ева.

— Бедный наш Габриэл, — сумрачно повторил отец Миранды.

Она шла с ним рядом и чувствовала себя чужой, но не горевала об этом. Конечно, он ее не простил. А простит ли? Не угадаешь когда, но когда-нибудь это придет само собой, без слов, без объяснений с обеих сторон, ведь к тому времени

ни ей, ни отцу незачем будет вспоминать, из-за чего у них пошел разлад и почему казалось, что это так важно. Не могут же старые люди вечно злиться оттого, что и молодые хотят жить, думала она — воплощенье самонадеянности, воплощенье гордости. Я буду совершать свои ошибки, но не повторять ваши, есть предел моей зависимости от вас, и вообще, с какой стати от кого-то зависеть? За этим пределом ждет еще много всего, но надо сделать первый шаг — и Миранда сделала этот шаг, когда молча шла рядом со старшими; а они уже не кузина Ева и ее отец, ведь они забыли про нее и оттого стали просто Евой и Гарри, они так хорошо знают друг друга, им друг с другом просто и легко, они равны, принадлежат к одному поколению, они по праву занимают свое место в мире, дожив до возраста, к которому пришли путями, обоим хорошо знакомыми. Им незачем играть ни роль дочери или сына перед стариками, которым их не понять, ни роль отца или немолодой тетушки перед молодыми, которых не понять им самим. Они стали сами собой, взгляд прояснился, голос звучит естественно, незачем взвешивать каждое слово и заботиться о том, какое производишь впечатление. А вот у меня нет места в мире, подумала Миранда. Где они, близкие мне люди, где оно, мое время? Она все молчала, а в душе росла и росла досада на этих двоих — они ей чужие, они наставляют ее, и поучают, и любят не по-доброму, отказывают ей в праве смотреть на мир по-своему, требуют, чтобы жила, как они, и, однако, не умеют сказать ей правду о жизни, даже в мелочах. Ненавижу их обоих, внятно прозвучало в самой потаенной глубине души. *Уйду от них и стану свободна и даже не вспомню их никогда.*

Она села в машине впереди, рядом с негром Скидом.

— Садись здесь, с нами, — резковато, повелительно, по обыкновению старших, распорядилась кузина Ева. — Места больше чем достаточно.

— Нет, спасибо, — холодно, решительно ответила Миранда. — Мне и тут хорошо. Можете не беспокоиться.

Они не обратили ни малейшего внимания на ее тон.



Уселись поудобнее и продолжали тот же семейный дружелюбный разговор, толковали о родных — кто умер и кто жив, о своих делах и планах, наперебой вспоминали прошлое, спорили, что в какой-то мелочи память другого подвела, смеялись весело, от души, — Миранда и не думала, что они способны так смеяться, перебирали какие-то давние истории и с увлечением находили в них что-то новое.

За шумом мотора Миранда не могла расслышать эти рассказы, но не сомневалась — она давно знает их или другие такие же. Ей знакомо слишком много таких рассказов, хочется чего-то нового, своего. Эти двое говорят на языке старших, от которого она уже отвыкла. Отец сказал, в доме полно народу. Значит, полно родни, многих она, наверно, и не знает. Попадется ли хоть кто-нибудь молодой, с кем бы можно поговорить, найти общий язык? Как-то противно думать о встрече со всякими родичами. Чересчур их много, все в ней восстает против кровных уз. Родичи надоели до смерти. Не станет она больше жить на привязи, уйдет из этого дома навсегда и в мужнину семью тоже не вернется. Хватит, довольно она жила, скованная цепями любви и ненависти. Теперь уже понятно, почему она бежала отсюда в замужество, — и понятно, почему готова бежать от замужества, не останется она нигде и ни с кем, кто помешает ей жить по-своему, по-новому, кто скажет ей «нет». Хорошо бы никто не занял ее прежнюю комнату, славно будет еще раз там переночевать, сказать «прости» уголку, где она любила спать прежде, где засыпала и просыпалась и ждала, когда же наконец вырастет и начнет жить. Да что же такое жизнь, с отчаянной серьезностью спросила себя Миранда все теми же детскими словами, на которые нет ответа, и что мне с ней делать? Моя жизнь принадлежит мне, думала она яростно, ревниво, жадно, что же я с ней сделаю? Сама того не понимая, она задавалась этим вопросом из-за прежнего своего воспитания, ведь ей с младенчества внушали, что жизнь — нечто осязаемое, подобие глины, ее лепишь, она обретает форму, и направление, и смысл лишь от того, как ее направляет,

как трудится над нею хозяин; жить — значит неустанно и разнообразно действовать, всей силой воли стремясь к некоей цели. Ее сюзмальства уверяли, что бывают цели хорошие и дурные и надо выбирать. Но что хорошо и что дурно? Ненавижу любовь, подумала она, как будто в этом заключался ответ, и любить ненавижу, и когда любят меня, тоже ненавижу. Взбаламученную, бунтующую душу ошеломило открытие: как же полегчало от того, что внезапно рушилась прежняя, мучительно тесная клетка искаженных представлений и ложных понятий. Ни в чем ты не разбиралась, сказала себе Миранда на редкость внятно, точно старшая, вразумляющая кого-то юного и сбитого с толку. Придется тебе все выяснить и распутать. Но ничто внутри не побуждало решить — теперь я поступлю вот так, стану вот такая, отправлюсь туда-то, пойду вот таким путем к такой-то цели. Есть вопросы самые главные, самые важные, подумала она, но кто на них ответит? Никто — или ответов окажется слишком много, и ни одного верного. Что есть истина, спросила она себя так настойчиво, словно до нее никто никогда об этом не спрашивал, какова правда хотя бы о самом малом, самом незначительном из всего, в чем мне надо разобраться? И где ее искать? Мысль упрямо отказывалась возвращаться к прошлому — не к памяти о прошлом, но к легенде о нем, к чужим воспоминаниям о прошлом, когда она только и делала, что глядела на все с изумленным любопытством, будто ребенок на картинки, которые показывает волшебный фонарь. Но ведь впереди у меня *моя* жизнь, мое сегодня и завтра. Не хочу я никаких обещаний, не стану тешиться лживыми надеждами, не надо мне никакой романтики. Не могу больше жить в их мире, сказала она себе, прислушиваясь к голосам за спиной. Пускай рассказывают свои сказки друг другу. Пускай объясняют все, что было, на свой лад. Мне до этого нет дела. О том, что такое я и моя жизнь, я уж сумею узнать правду, безмолвно пообещала себе, дала себе слово Миранда — воплощенье надежд, воплощенье неведения.

## Полуденное вино

*Время: 1896—1905*

*Место: Маленькая ферма в Техасе*

Два чумазых, взъерошенных мальчугана, которые рылись среди крестовника во дворе перед домом, откинулись на пятки и сказали: «Здрасьте», когда долговязый, тощий человек с соломенными волосами свернул к их калитке. Он не задержался у калитки; она давно уже удобно приоткрылась и теперь так прочно осела на расхлябанных петлях, что никто больше не пробовал ее закрывать. Человек даже не взглянул в сторону мальчиков и уж тем более не подумал с ними поздороваться. Просто прошел мимо, топая здоровенными тупоносими запыленными башмаками, одним, другим, размеренно, как ходят за плугом, словно все ему было здесь хорошо знакомо и он знал, куда идет и что там застанет. Завернув за угол дома с правой стороны, под кустами персидской сирени, он подошел к боковому крыльцу, на котором стоял мистер Томпсон, толкая взад-вперед большую маслобойку.

Мистер Томпсон был крепкий мужчина, обветренный и загорелый, с жесткими черными волосами и недельной черной щетиной на подбородке. Шумливый, гордый мужчина, держащий шею так прямо, что все лицо приходилось на одной линии с кадыком, а щетина продолжалась на шее и терялась в черной поросли, выбивающейся из-под расстегнутого воротника. В маслобойке урчало и хлюпало, точно в утробе рысящей лошади, и почему-то казалось, что мистер Томпсон в самом деле одной рукой правит лошадю, то осаживая ее, то погоняя вперед; время от времени он делал полуоборот и выметал поверх ступенек богатырскую струю табачного сока. Каменные плиты у

крыльца от свежего табачного сока побурели и покрылись глянцем. Мистер Томпсон сбивал масло уже давно и основательно наскучил этим занятием. Он как раз насосал табачной слюны на хороший плевок, и тут незнакомец вышел из-за угла и остановился. Мистер Томпсон увидел узкогрудого человека с костлявым длинным лицом и белыми бровями, из-под которых на него глядели и не глядели глаза такой бледной голубизны, что тоже казались почти белыми. Судя по длинной верхней губе, заключил мистер Томпсон, опять какой-нибудь ирландец.

— Мое почтение, уважаемый, — вежливо сказал мистер Томпсон, подтолкнув маслобойку.

— Мне нужна работа, — сказал человек, в общем-то внятно, но с нездешним выговором, а каким, мистер Томпсон определить затруднился. Не негритянский выговор, не кейджен \* и не голландский, а там — шут его разберет. — Вам здесь не нужен работник?

Мистер Томпсон дал маслобойке хорошего толчка, и она ненадолго закачалась взад-вперед сама по себе. Он сел на ступеньки и выплюнул на траву изжеванный табак.

— Присаживайтесь, — сказал он. — Возможно, мы и сладимся. Я в аккурат подыскиваю себе кого-нибудь. Держал двух ниггеров, да они на той неделе ввязались в поножовщину тут выше по речке, один помер, другого посадили за решетку в Коулд-Спрингс. Об таких, скажу по совести, руки марать не стоит, не то что убивать. В общем, похоже, надо мне брать человека. Вы раньше-то где работали?

— В Северной Дакоте, — сказал незнакомец, складываясь зигзагом на другом конце ступенек, но не так, как если бы присел отдохнуть. Он сложился зигзагом и устроился на ступеньках с таким видом, словно вообще не собирался вставать в ближайшее время. На мистера Томпсона он ни разу не посмотрел, хотя ничего вороватого тоже не было у него во взгляде. Он вроде бы не смотрел и ни на что другое. Его глаза сидели в глазницах и все пропускали мимо. Вроде как не рассчитывали увидеть такое, на что стоило бы

\* Диалект американцев французского происхождения в штате Луизиана.

посмотреть. Мистер Томпсон долго ждал, не прибавит ли он еще что-нибудь, но он как будто впал в глубокую задумчивость.

— В Северной Дакоте, — произнес мистер Томпсон, сясь припомнить, где бы это могло бы т ь . — Надо понимать, не близкий свет.

— Я все могу по хозяйству, — сказал незнакомец, — задешево. Мне нужна работа.

Мистер Томпсон изготавился перейти вплотную к делу.

— Будем знакомы, — сказал о н . — Томпсон. Мистер Ройял Эрл Томпсон.

— Мистер Хелтон, — сказал незнакомец. — Мистер Олаф Хелтон. — Он не шелохнулся.

— Ну что же , — сказал мистер Томпсон самым зычным голосом, на какой только был способен. — Думается, да-вайте-ка сразу начистоту.

Мистер Томпсон всякий раз, когда располагался с выгодой повернуть дельце, ударялся в бесшабашную веселость. Не из-за вывиха какого-нибудь, а просто до смерти не любил человек платить жалованье. И открыто в том признавался. «Ты им — и харч, и постой, — говорил, — да сверх того еще деньги. Несправедливо это. Мало, что инвентарь тебе произведут в негодность, — говорил, — так от ихнего недогляда один разор в хозяйстве и запущение». И к любовной сделке он прорывался с гоготом и рыком.

— Я, перво-наперво, хочу знать вот что — вы на сколько метите меня обставить? — зареготал он, хлопая себя по коленке. Наделал шуму в меру сил, потом утих, слегка пристыженно, и отрезал себе кус табаку. Мистер Хелтон, уставясь в пространство между сараем и фруктовыми деревьями, тем временем, казалось, спал с открытыми глазами.

— Я — хороший работник, — глухо, как из могилы, сказал мистер Хелтон. — Получаю доллар в день.

Мистер Томпсон до того опешил, что позабыл снова расхотаться во все горло, а когда спохватился, от этого уже было мало проку.

— Хо-хо! — надсаживался о н . — Да я за доллар в день самолично подамся внаймы. Это где же такое за работу платят доллар в день?

— В Северной Дакоте, на пшеничных полях, — сказал мистер Хелтон, и хоть бы усмехнулся.

Мистер Томпсон перестал веселиться.

— Да, здесь вам не пшеничное поле, оно конечно. Здесь у нас будет скорей молочная ферма, — проговорил он виновато. — У супруги у моей больно лежала душа к молочному хозяйству, коров обихаживать, телят, я ее и уважил. И дал маху, — сказал о н . — Все равно приходится хозяйничать почитай что в одиночку. Супруга у меня не особо крепкого здоровья. Взять, к примеру, сегодня — хворает. Все эти дни перемогалась. Кой-чего мы здесь садим себе к столу, под кукурузой есть участок, есть фруктовые деревья, поросят сколько-то держим, курей, но первая у нас статья дохода — коровы. И признаюсь я вам, как мужчина мужчине, никакого от них дохода нету. Не могу я платить вам доллар в день лишь по той причине, что хозяйство мне просто-напросто не приносит таких денег. Да, уважаемый, не на доллар мы в день перебиваемся, а куда поменьше, я бы сказал, если все прикинуть на круг. Теперь что же, тем ниггерам двум я платил семь долларов в месяц, по три пятьдесят на рыло, но скажу вам так — один мало-мальски сносный белый, по мне, в любой день и час стоит целого выводка ниггеров, так что положу я вам семь долларов, столуетесь вместе с нами, и обращаться с вами будут, по присловью, как с белым человеком...

— Ладно, — сказал мистер Хелтон. — Согласен.

— Ну что же, стало быть, думается, по рукам — так, что ли? — Мистер Томпсон вскочил, словно вспомнил вдруг про важное дело. — Вы тогда становитесь вот сюда к маслобойке, покачайте ее маленько, ага, а я покуда смотаюсь в город кой по каким делишкам. Совсем возможности не было отлучиться всю неделю. Как быть с маслом, когда собьется, это вы небось знаете?

— Знаю, — не повернув головы, сказал мистер Хелтон. —

Я умею обходиться с маслом. — У него был странный, тягучий голос, и даже когда он говорил всего два слова, голос у него медлительно вихлялся вверх и вниз, и ударение приходилось не туда, куда надо. Мистера Томпсона разби- рало любопытство, из каких же чужих краев мистер Хелтон родом.

— Так где бишь это вы работали раньше? — спросил он, как если бы предполагал, что мистер Хелтон начнет противоречить сам себе.

— В Северной Дакоте, — сказал мистер Хелтон.

— Что ж, всякое место на свой манер не худо, коль пообвыкнуть, — великодушно признал мистер Томпсон. — Вы-то сами родом нездешний, правильно?

— Я — швед, — сказал мистер Хелтон, принимаясь раска- чивать маслобойку.

Мистер Томпсон густо хохотнул, точно при нем первый раз в жизни отпустили такую славную шутку.

— Вот это да, чтоб я пропал! — объявил он громоглас- н о . — Швед! Ну что же, но одного боюсь, не заскучать бы вам у нас. Что-то не попадались мне шведы в нашей местности.

— Ничего, — сказал мистер Хелтон. И продолжал раска- чивать маслобойку так, словно работал на ферме уже который год.

— Правду сказать, если на то пошло, я до вас живого шведа в глаза не видал.

— Это ничего, — сказал мистер Хелтон.

Мистер Томпсон вошел в залу, где, опустив зеленые шторы, прилегла миссис Томпсон. Глаза у нее были накрыты влажной тряпицей, на столе рядом стоял тазик с водой. При стуке мистертомпсоновых башмаков она отняла тря- пицу и сказала:

— Что там за шум во дворе? Кто это?

— Малый у меня там один, сказался шведом, масло, сказал, умеет дел а т ь , — отвечал мистер Томпсон.

— Хорошо бы и вправду, — сказала миссис Томпсон. —

Потому что голова у меня, гляжу, не пройдет никогда.

— Ты, главное, не беспокойся, — сказал мистер Томпсон. — Чересчур ты много волнуешься. А я, знаешь, снарядился в город, разживусь кой-каким провиантом.

— Вы только не задерживайтесь, мистер Томпсон, — сказала миссис Томпсон. — Не заверните ненароком в гостиницу. — Речь шла о трактире, у владельца заведения, помимо прочего, наверху сдавались комнаты.

— Эка важность два-три пуншика, — сказал мистер Томпсон, — от такого еще никто не пострадал.

— Я вот в жизни не пригубила хмельного, — заметила миссис Томпсон, — и, скажу больше, в жизни не пригублю.

— Я не касаюсь до женского сословия, — сказал мистер Томпсон.

Мерные всхлипы маслобойки нагнали на миссис Томпсон сперва легкую дремоту, а там и глубокое забытье, от которого она внезапно очнулась с сознанием, что всхлипы уже порядочно времени как прекратились. Она привсталала, заслонив слабые глаза от летнего позднего солнца, тянущего расплющенные пальцы сквозь щель между подоконником и краем штор. Жива покамест, слава те господи, еще ужин готовить, зато масло сбивать уже не надо и голова хотя еще и дурная, но полегчала. Она не сразу сообразила, что слышит, слышала даже сквозь сон, новые звуки. Кто-то играл на губной гармошке, не просто пиликал, режа слух, а искусно выводил красивую песенку, веселую и грустную.

Она вышла из дома через кухню, спустилась с крыльца и стала лицом на восток, заслоняя глаза. Когда мир прояснился и обрел определенность, увидела, что в дверях хибарки, отведенной для батраков, сидит на откинutom кухонном стуле белобрысый верзила и, закрыв глаза, выдувает музыку из губной гармошки. У миссис Томпсон екнуло и упало сердце. Боже ты мой, видать, бездельник и недо-тепа, так и есть. Сначала черные забулдыги, один никудышней другого, теперь — никудышный белый. Прямо тянет мистера Томпсона нанимать таких. Что бы ему быть пора-дивей, что бы немного вникать в хозяйство. Ей хотелось



верить в мужа, а слишком было много случаев, когда не удавалось. Хотелось верить — если не завтра, то на худой конец послезавтра жизнь, и всегда-то ох какая нелегкая, станет лучше.

Она миновала хибарку осторожными шажками, не скосив глаза в сторону, сгибаясь в поясе из-за ноющей боли в боку, и пошла к погребу у родника, заранее набираясь духу отчитать этого нового работника со всей строгостью, если дела у него до сих пор стоят.

Молочный погреб, а по сути тоже обветшалая дощатая лачужка, был сколочен на скорую руку не один год назад, когда приспела надобность обзавестись молочным погребом, строили его на время, но время затянулось, и он уже разъехался вкривь и вкось, скособочился над неиссякаемой струйкой студеной воды, сочащейся из маленького грота и почти заглушенной от блеклых папоротников. Ни у кого больше по всей окрестности не было на своей земле такого родника. Мистер и миссис Томпсон считали, что, если подойти с умом, родник может принести золотые горы, да все было недосуг приложить к нему руки.

Шаткие деревянные лавки теснились как попало на площадке вокруг бочажка, где в поместительных бадьях свежим, сладким сохранялось в холодной воде молоко и масло. Прижимая ладонью болезненное место на плоском боку, а другой заслоняя глаза, миссис Томпсон нагнулась вперед и заглянула в бадейки. Сливки сняты и сцежены в особую посудину, сбит добрый катыш масла, деревянные формы и миски, впервые за бог весть сколько времени, выскоблены и ошпарены кипятком, в полной до краев кадушке готово пахтанье для поросят и телят-отъемышей, земляной, плотно убитый пол чисто выметен. Миссис Томпсон выпрямилась, с нежной улыбкой. Бранить его собралась, а он, бедняга, искал работу, только что явился на новое место и вовсе бы не обязан с первого раза знать, что и как. Зря обидела человека, пускай лишь в мыслях, как же его теперь не похвалить за усердие и расторопность — ведь все успел, и притом в одну минуту. Ступая с обычной

осторожностью, она несмело приблизилась к дверям хибарки; мистер Хелтон открыл глаза, перестал играть и опустил стул на все четыре ножки, но не встал и не взглянул на нее. А если б взглянул, то увидел бы хрупкую маленькую женщину с густой и длинной каштановой косой, страдальческим очерком терпеливо сжатых губ и большими, легко слезящимися глазами. Она сплела пальцы козырьком, упершись большими пальцами в виски, и, смаргивая слезы, молвила с милой учтивостью:

— Здрасьте, сударь. Я миссис Томпсон и хочу сказать, вы очень прекрасно управились в молочном погребе. Его всегда трудно содержать в порядке.

Он отозвался, тягуче:

— Ничего. — И не шелохнулся.

Миссис Томпсон подождала минутку.

— Красиво вы играете. Мало у кого на губной гармошке получается складная музыка.

Мистер Хелтон сидел ссутулясь, раскинув длинные ноги и сгорбив спину в три погибели, поглаживая большим пальцем квадратные клапаны; только рука у него и двигалась, иначе можно было бы подумать, что он спит. Гармошка его была большая, новенькая, блестящая, и миссис Томпсон, блуждая взглядом по лачуге, обнаружила, что на полке возле койки выстроились в ряд еще пять штук превосходных дорогих гармошек. «Небось носит их с собой в кармане блузы», — подумала она, обратив внимание, что никаких других его пожитков нигде рядом не заметно. Она сказала:

— Вы, я вижу, сильно любите музыку. У нас был старый аккордеон, и мистер Томпсон так наловчился играть, что одно удовольствие, жаль, ребятишки поломали его.

Мистер Хелтон довольно-таки резко встал, со стуком отставив стул, расправил колени, по-прежнему ссутуля плечи, и устался в пол, как если бы ловил каждое слово.

— Ребятишки, сами знаете, какой с них спрос, — продолжала миссис Томпсон. — Вы положили бы гар-

мошки на полку повыше, не ровен час доберутся. Непременно норовят распотрошить всякую вещь. Стараешься им внушать, но пользы от этого маловато.

Мистер Хелтон одним размашистым движением длинных рук сгреб гармошки и прижал к груди, откуда они рядком перекочевали на балку в том месте, где крыша сходилась со стеной. После чего он их задвинул подальше, и они почти скрылись из виду.

— Так, пожалуй, сойдет, — сказала миссис Томпсон. — Интересно, — сказала она, оглядываясь и беспомощно жмурясь от яркого света на западе, — интересно знать, куда запропастилась эта мелюзга. Никак не уследишь за ними. — Она имела обыкновение говорить о своих детях, как говорят о несносных племянниках, которых надолго сплывили к вам погостить.

— На речке, — произнес своим замогильным голосом мистер Хелтон. Миссис Томпсон, помедлив в растерянности, решила, что ей ответили на вопрос. Он стоял в терпеливом молчании, не то чтобы явно дожидаясь, пока она уйдет, но вполне определенно не дожидаясь ничего иного. Миссис Томпсон давно привыкла видеть самых разных мужчин с самыми разными причудами. Важно было с возможной точностью определить, чем не похож мистер Хелтон в своих чудачествах ни на кого другого, а тогда приноровиться к ним так, чтоб ему жилось легко и свободно. Родитель у нее был с вывертами, дядя и братья все поголовно с блажью, и всяк блажил на свой особый лад, у каждого нового работника на ферме имелись свой заскок и своя странность. А вот теперь явился мистер Хелтон, и он, во-первых, швед, во-вторых, упорно отмалчивается и, помимо всего прочего, играет на губной гармошке.

— Надо их будет покормить чем-нибудь, того и гляди, — с дружелюбной рассеянностью заметила миссис Томпсон. — Что бы такое, интересно, придумать на ужин? Вы, к примеру, мистер Хелтон, что любите кушать? Масла свежего у нас всегда вдоволь, слава богу, и молока,

и сливок. Мистер Томпсон ворчит, что не все целиком идет на продажу, но для меня на первом месте моя семья, и уж потом остальное. — Все ее личико сморщилось в болезненной, подслеповатой улыбке.

— Я ем все подряд, — сказал мистер Томпсон, вихляя словами то вверх, то вниз.

Да он, перво-наперво, *не умеет* разговаривать, подумала миссис Томпсон, стыд и срам приставать к человеку, когда он толком не знает языка. Она не спеша отступила от хибарки, оглянулась через плечо.

— Лепешки маисовые у нас постоянно, не считая воскресенья, — сказала она ему. — В ваших краях, я так думаю, не очень-то умеют печь маисовый хлеб.

В ответ — ни слова. Краем глаза она подглядела, как мистер Хелтон снова сел, откинулся на кухонном стуле назад и уставился на свою гармошку. Не забыл бы, что скоро пора доить коров. Уходя, она слышала, как он заиграл опять, ту же самую песенку.

Время дойки пришло и ушло. Миссис Томпсон видела, как ходит от коровника к молочному погребу и обратно мистер Хелтон. Он вышагивал широко и размашисто, с подскоком, сутуля плечи, свесив голову, большие ведра, точно чаши весов, покачивались, уравнивая друг друга, по концам его костлявых рук. Возвратился из города мистер Томпсон, держась еще прямой обычного, напыжа подбородок; за седлом — переметная сумка с припасами. Наведался в коровник, после чего, лучась благодушием, пожаловал на кухню и смачно чмокнул миссис Томпсон в щеку, царапнув ее по лицу колючей щетиной. Завернул-таки в гостиницу, это было ясно как день.

— Учинил осмотр службам, Элли, — закричал он. — Лют до работы этот швед, ничего не скажешь. Но уж молчун — я второго такого отродясь не встречал. Бойся рот открыть, воды набрал, что ли.

Миссис Томпсон замешивала в большой миске тесто для маисовых лепешек на пахте.

— Запах от вас, мистер Томпсон, словно как от винной бочки, — сказала она с большим достоинством. — Вы бы наказали ребятишкам, пусть мне подкинут еще охапку дров. Глядишь, надумаю завтра затеять печенье.

Мистер Томпсон, получив по заслугам, сразу учуял, как у него изо рта пахнет вином, смиренно удалился на цыпочках и сходил за дровами сам. Топоча и громко требуя ужина, появились Артур и Герберт, всклокоченные, чумазые с головы до пят, от кожи до рубахи.

— Марш умываться, причесываться, — машинально проговорила миссис Томпсон.

Они ретировались на крыльцо. Каждый подставил руку под желоб, смочил себе зуб, пригладил ладонью и медленно вновь устремился на кухню, к средоточию всех благ, какие сулит жизнь. Миссис Томпсон поставила на стол лишнюю тарелку и велела старшему, восьмилетнему Артуру, чтобы позвал мистера Хелтона ужинать.

— Э-эй, Хе-елтон, у-ужинать! — не трогаясь с места, заревел Артур, словно молодой телок, и, понизив голос, прибавил: — Швед, живой шкелет.

— Так себя не ведут, слышишь? — сказала миссис Томпсон. — А ну, ступай позови его пристойно, не то скажу папе, он тебе задаст.

Мистер Хелтон, долговязый и сумрачный, возник в дверях.

— Подсаживайтесь-ка вот с ю да, — указывая рукой, прогудел мистер Томпсон.

Мистер Хелтон в два шага перемахнул по кухне свои тупоносые башмаки и плюхнулся на скамейку — подсел. Мистер Томпсон поместился на стуле во главе стола, мальчишки вскарабкались на свои места напротив мистера Хелтона, миссис Томпсон села на другом конце, поближе к плите. Она сложила руки, склонила голову и произнесла скороговоркой:

— Слава тебе, Господи, за хлеб наш насущный, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, — торопясь договорить, покуда Герберт не запустил заскорузлую пятерню в

ближайшую миску. Иначе его пришлось бы выставять из-за стола, а детям вредно пропускать еду, они растут. Мистер Томпсон с Артуром всегда дожидались до конца, но шестилетний Герберт был еще мал и туго поддавался выучке.

Мистер и миссис Томпсон старались вовлечь мистера Хелтона в разговор, но безуспешно. Затронули для начала погоду, перешли на урожай, коснулись коров — и хоть бы хны, мистер Хелтон не отзывался. Тогда мистер Томпсон рассказал смешной случай, который наблюдал сегодня в городе. Как компания его старинных приятелей-фермеров, тоже завсегдатаев гостиницы, поднесла пива козе и что впоследствии эта коза выкамаривала. Мистер Хелтон сидел истуканом. Миссис Томпсон добросовестно смеялась, хотя нельзя сказать, чтобы от души. Эту историю она слышала достаточно часто, правда, мистер Томпсон преподносил ее каждый раз так, будто она произошла только сегодня. На самом деле она случилась, наверно, сто лет назад, а возможно, и вовсе не случалась и уж никак, по понятиям миссис Томпсон, не подходила для женского уха. Всему была виной слабость мистера Томпсона подчас хлебнуть лишку, даром что сам же на местных выборах неизменно голосовал за право ограничивать продажу спиртного. Она передавала мистеру Хелтону кушанья, и он от всего брал, но понемножку, маловато для поддержания в себе полной силы, коль скоро имел намерение и дальше работать так же, как взялся спервоначалу.

Наконец он отломил от маисового хлеба порядочную краюху, вытер тарелку чисто-начисто, как дворняжка не вылизжет языком, отправил краюху в рот, снялся со скамейки и, дожевывая, направился к двери.

— Спокойной ночи, мистер Хелтон, — сказала миссис Томпсон, и остальные Томпсоны поддержали ее нестройным хором: — Спокойной ночи, мистер Хелтон.

— Спокойной н о ч и , — вихляясь, донесся нехотя из темноты голос мистера Хелтона.

— Покона н о ш , — передразнивая его, сказал Артур.

— Покона н о ш , — как попугай, подхватил Герберт.

— Ты не т а к , — сказал Артур. — Вот послушай, как я. Покооона но-оооша, — и, упиваясь роскошью перевоплощения, раскатил замогильную гамму. Герберт чуть не задохнулся от восторга.

— Ну-ка *прекратите*, — сказала миссис Томпсон. — Он, бедный, не виноват, что так разговаривает. И не совестно вам высмеивать человека за то, что он нездешний? Хорошо бы вам было на его месте, чужим в чужой стране?

— А то не т , — сказал Артур. — Это же интересно!

— Истинно, Элли, варвары, — сказал мистер Томпсон. — Как есть невежи. — Он обратился к своим чадам ужасный родительский л и к . — Вот упекут вас в школу на будущий год, тогда маленько наберетесь ума-разума.

— Меня упекут в исправительную колонию, вот куда , — пропищал Герберт. — Но надо сначала подрасти.

— Да ну, серьезно? — спросил мистер Томпсон. — Это кто же сказал?

— Директор воскресной школы , — с законной гордостью похвастался Герберт.

— Видала? — сказал мистер Томпсон, обращая свой взгляд на же н у . — Что я тебе говорил? — Гнев его исполнился ураганной с и л ы . — Сию минуту в постель , — рявкнул он, дергая кадыком. — Убирайтесь, пока я с вас шкуру не спустил!

Они убрались, и вскоре подняли у себя наверху возню на весь дом, сопя, урча и хрюкая, и потолок на кухне заходил ходуном.

Миссис Томпсон взялась за голову и промолвила нетвердым голоском:

— Они птенцы малые, и незачем на них напускаться. Не выношу я этого.

— Помилуй, Элли, обязаны мы их воспитывать? — сказал мистер Томпсон. — Нельзя же просто сидеть и любоваться, пока они растут дикарями.

Она продолжала, уже иначе:

— А он как будто ничего, подходящий, этот мистер

Хелтон, пусть даже из него слова не вытянуть. Хотелось бы знать, каким ветром его занесло в такую даль от дома.

— Вот и я говорю, язык он трепать не горазд, — сказал мистер Томпсон, — зато у него дело горит в руках. А это, думается, для нас главное. Мало ли их шатается кругом, всяких разных, ищет работу.

Миссис Томпсон убирала со стола. Приняла тарелку мистера Томпсона из-под его подбородка.

— Сказать вам чистую правду, — заметила она, — по-моему, только к лучшему, если у нас на перемену заведется человек, который умеет работать и держать язык за зубами. Значит, не будет мешаться в наши дела. Положим, нам прятать нечего, а все же удобство.

— Это точно, — подтвердил мистер Томпсон. — Хо-хо! — закричал он в друг. — А тебе, значит, полный будет простор болтать за двоих, так?

— Одно в нем не по мне, — продолжала миссис Томпсон, — что ест без души. Приятно посмотреть, когда мужчина уминает за обе щеки все, что подано на стол. Как бабуля моя, бывало, скажет — плоха надежда на мужчину, если он не отдал честь обеду за столом. Хорошо бы не вышло по ее на этот раз.

— Сказать тебе правду, Элли, — возразил мистер Томпсон, развалясь на стуле в отличнейшем расположении духа и ковыряя вилкой в зубах, — бабулю твою я лично всегда держал за дуришу самой высшей марки. Брякнет первое, что взбредет в голову, и мнит, будто возвестила господню премудрость.

— Никакая моя бабуля была не дурища. Она знала, что говорит, кроме разве считанных случаев. Говори первое, что придет в голову, лучше не придумашь, такое мое правило.

— Ой ли, — не преминул опять раскричаться мистер Томпсон, — вон ты какое развела жеманство из-за несчастной козы — что же, валяй, как-нибудь выскажись начистоту в мужской компании! Попробуй. А ну как в те поры придет к тебе помышление про петуха с курочкой, что тогда?



Как раз вгонишь в краску баптистского проповедника! — Он крепко ущипнул ее за тощий задик. — Мяса на тебе — впору занимать у кролика, — сказал любовно. — Нет, мне подавай такую, чтобы в теле была!

Миссис Томпсон поглядела на него большими глазами и зарделась. Она лучше видела при свете лампы.

— Срамник вы, мистер Томпсон, каких, иной раз думаешь, и свет не видывал. — Она ухватила его за вихор на макушке и больно, с оттяжкой, дернула. — Это чтобы в другой раз неповадно было так щипаться, когда заигрываете, — ласково сказала она.

Невзирая на удел, который достался ему в жизни, мистер Томпсон не мог никакими силами вытравить из себя глубокое убеждение, что вести молочное хозяйство да гоняться за курами — занятие женское. То ли дело вспахать поле, убрать урожай сорго, вылущить маис, закром для него сработать, объездить упряжку — в этом, говаривал мистер Томпсон, он готов потягаться со всяким. Вполне также мужское занятие — купля-продажа. Дважды в неделю, заложив рессорный фургон, он вез на рынок свежее масло, толику яиц, фрукты, зависимо от сезона, мелочь брал себе и тратил как ему заблагорассудится, свято блюдя ту часть, что причиталась миссис Томпсон на булавки.

А вот с коровами была для него с самого начала морока — два раза в день по часам приходят доиться и стоят, с укором повернув к нему по-женски самодовольные морды. С телятами тоже морока — рвутся к вымени, натягивают веревку, вытаращив глаза, того и гляди, удавятся. Сражаться с теленком недостойно мужчины, как менять пеленки младенцу. Морока и с молоком — то горчит, то вообще пропадет, а нет, так скиснет. И уж подавно морока с курами — клохчут, квохчут, выводят цыплят, когда этого меньше всего ожидаешь, и шествуют со своим потомством на скотный двор, прямо под копыта лошадям; мрут от чумы, мрут от сапа, терпят нашествия пухоеда и несутся по всему белу свету — половина яиц протухнет, покуда отыщешь, — а не

для них ли, окаянных, миссис Томпсон установила в курятнике ясли с гнездами. Сущее наказание было с курами.

Выносить помой свиньям входило, по мнению мистера Томпсона, в обязанности батрака. Заколоть свинью — дело хозяина, но освежевать и разделать тушу подобает опять-таки батраку, ну а женская забота — заготавливать мясо, коптить, солить, жир топить, варить колбасу. Каждое строго ограниченное поле деятельности неким образом соотносилось у мистера Томпсона с представлением о том, как это будет выглядеть, как будет выглядеть он сам перед богом и людьми. «Ну где это *видано*» — вот решающий довод, которым он отговаривался, когда ему что-нибудь не хотелось делать.

Свое достоинство оберегал он, свой мужской престиж, а настоящей мужской работы, за какую не зазорно взяться собственными руками, было, на взгляд мистера Томпсона, раз-два и обчелся. Миссис же Томпсон, для которой, напротив, подходящей работы нашлось бы хоть отбавляй, взяла да и подвела его — попросту надломилась. Достаточно скоро он обнаружил, как недалеко было с его стороны возлагать на миссис Томпсон большие надежды; когда-то он пленился тонкой талией, большими голубыми глазами, краешком нижней юбки, отороченной кружевом, — все эти прелести сгнули, но она тем временем сделалась его Элли, совсем не похожей на мисс Эллен Бриджиз, которая пользовалась таким успехом в Маунтин-сити; из учительницы воскресной школы при Первой баптистской церкви она сделалась его милой женушкой Элли, которая не отличалась крепким здоровьем. Лишенный, однако, таким образом, главной поддержки, на какую вправе рассчитывать в жизни женатый мужчина, он, может быть сам того не сознавая, смирился в душе с участью неудачника. Высоко держа голову, платя налоги день в день, ежегодно внося свою лепту на жалованье проповеднику, мистер Томпсон, землевладелец и отец семейства, работодатель, душа мужской компании, знал, нутром чуял, что неуклонно сползает вниз. Елки-палки, не пора ли, чтобы кто-нибудь раз в жизни

взял в руки грабли и расчистил грязищу вокруг коровника и у черного крыльца! Каретный сарай завален рухлядью: поломанные машины и драная упряжь, старые фургонные колеса, худые ведра из-под молока, трухлявый скарб — фургон завести стало некуда. И ни единая душа палец о палец не ударит, а он — у него и без этого всегда невпроворот дела. В дни затишья от одной страды до другой он нередко часами просиживал пригорюнясь, обдавая табачным соком крестовник, буйно разросшийся возле поленницы, и размышлял о том, куда податься человеку, когда обстоятельства прямо-таки приперли его к стенке. Поскорей бы подрастали сыновья — они у него узнают, почем фунт лиха, как сам он мальчишкой узнал у своего отца, научатся держать в руках хозяйство, постигнув в этом деле все до тонкости. Перегибать палку незачем, но все же они у него, голубчики, попотеют за свой кусок хлеба, а нет — тогда пусть не взыщут. Не черта им, битюгам здоровым, рассиживаться да выстругивать хлыстики! Мистер Томпсон подчас ужасно распалялся, рисуя себе возможные картины их будущего — рассядутся, здоровенные битюги, выстругивать хлыстики или на речку улизнут с удочкой. Нет, шалишь, он мигом положит конец их разгильдяйству.

Одно время года сменялось другим, мистер Хелтон все увереннее заправлял хозяйством, и мало-помалу у мистера Томпсона стало отлегать от души. Не было, кажется, такого, с чем не умел бы справиться его работник, — и все как бы между прочим, словно так и надо. Вставал в пять утра, сам варил себе кофе, поджаривал грудинку и был на выгоне с коровами задолго до того, как мистер Томпсон начинал зевать, потягиваться, кряхтеть, прочищать горло с трубным рыком и топать по комнате в поисках своих штанов. Он доил коров, содержал в образцовом порядке молочный погреб, сбивал масло; куры у него не разбредались и почему-то охотно неслись в гнездах, а не под домом или за стогом сена; кормил он их по часам, и они до того расплодились, что стало некуда шагу ступить. Кучи мусора вокруг служб и дома постепенно исчезли. Он потчевал свинок маисом,

пахтаньем, он вычесывал репейники из конских грив. Был ласков в обхождении с телятами, но несколько суров с коровами и курами; о разделении работы на мужскую и женскую мистер Хелтон, судя по его поведению, никогда не слышал.

На второй год он пришел к мистеру Томпсону с каталогом товаров, которые можно выписать по почте, и показал ему на картинке сырный пресс.

— Хорошая вещь. Купите, буду делать сыр.

Пресс купили, и мистер Хелтон стал действительно делать сыр, и сыр стали возить на рынок заодно с солидными партиями масла и корзинами яиц. Мистер Томпсон порою с легким пренебрежением взирал на повадки мистера Хелтона. Не мелко ли, согласитесь, для мужчины бродить, подбирая всего-то навсего штук десять маисовых початков, оброненных с воза по дороге с поля, падалицу подбирать на корм свиньям, подбирать и беречь старые гвозди, железки от машин и попусту убивать время, оттискивая на поверхности масла затейливые узоры перед тем, как его повезут на рынок. Восседая по пути в город на высоких козлах рессорного фургона, где, обернутое влажной холстинкой, покоилось в пятигаллонном бидоне из-под сала разукрашенное масло, зычно понукая лошадей и щелкая у них над крупом вожжами, мистер Томпсон думал порой, что мистер Хелтон — довольно-таки крохобористый малый, но никогда не давал воли подобным мыслям, ибо, напав на клад, знал ему цену. Ведь и впрямь свинки хорошели на глазах, и платили за них дороже. Ведь и впрямь ухитрялся мистер Хелтон снимать такие урожаи, что избавил мистера Томпсона от надобности подкупать корма. Когда наступал убой скота, мистер Хелтон умел пустить в дело все, что у мистера Томпсона попадало в отбросы, и не гнушался выскабливать кишки и начинять их колбасным фаршем особого изготовления. Короче, мистеру Томпсону грех было жаловаться. На третий год он прибавил мистеру Хелтону жалованье, хотя мистер Хелтон не заикался о прибавке. На четвертый, когда не только вылез из долгов, но и заимел кой-какие деньжата в банке, опять повысил жалованье мистеру Хелто-

ну, оба раза по два с половиной доллара в месяц.

— Мужик стоит того, Элли, — оправдывался мистер Томпсон, в приятном возбуждении от собственной расточительности. — Если хозяйство окупает само себя, в том заслуга его, пускай знает, что я это ценю.

Молчание мистера Хелтона, его белесые волосы и брови, не улыбочное вытянутое лицо и упорно незрячие глаза, даже его приверженность к работе — со всем этим Томпсоны вполне сжились и свыклись. Миссис Томпсон, правда, на первых порах нет-нет да и сетовала.

— Все равно как с бесплотным духом садишься за стол, — говорила. — Можно бы, кажется, раз в кои-то веки выдавить из себя два-три словечка.

— Не трогай ты его, — возражал мистер Томпсон. — Приспел ему срок — разговорится.

Шли годы, а для мистера Хелтона так и не приспел срок разговориться. Покончив с работой за день, он приходил, размахивая фонарем, клацая здоровенными башмаками, точно копытами, по утопанной дорожке, ведущей от хлева, или молочного погреба, или от курятника. Зимними вечерами слышно было из кухни или с заднего крыльца, как он вытаскивает деревянный стул, как, скрипнув спинкой, откидывается на нем назад, после чего он недолго наигрывал на какой-нибудь из своих губных гармошек все ту же, единственную песенку. Гармошки были у него каждая в своем ключе, одни тише и приятней на слух, чем другие, но мотив неизменно оставался один и тот же — странный мотив с неожиданными поворотами — из вечера в вечер, а бывало, что и днем, когда мистер Хелтон садился перевести дух. Поначалу Томпсоны очень восторгались и всегда останавливались послушать. Потом пришло время, когда они изрядно пресытились этим мотивом и между собой сходились на том, что не мешало бы ему разучить что-нибудь новенькое. Под конец они вообще перестали его слышать, воспринимая как нечто естественное, как шелест ветра в предвечерней листве, мычание коров или звук собственного голоса.

Миссис Томпсон изредка посещали сомнения касательно

мистерхелтоновой души. Он как будто не отличался набожностью, по воскресеньям работал с утра до вечера, так же, как по обычным будним дням.

— Надо бы его, по-моему, взять послушать доктора Мартина, — говорила она мистеру Томпсону. — Не очень-то это по-христиански с нашей стороны, что мы его не зовем. Такой, как он, набиваться сам не станет. Будет ждать, пока его пригласят.

— Да не трогай ты его, — говорил мистер Томпсон. — Верит человек, не верит — его дело, я, например, на это так смотрю. А потом, ему в воскресный день и одеться-то не во что. В церковь не наденешь рабочие штаны да блузу. Кто его знает, куда у него уходят деньги. Но на глупости он их не тратит, это точно.

Мысль эта, однако, засев у миссис Томпсон в голове, не давала ей покоя, и в первое же воскресенье она пошла звать мистера Хелтона вместе с их семейством в церковь. Мистер Хелтон, орудуя вилами, укладывал в поле за садом сено в аккуратные копенки. Миссис Томпсон надела дымчатые очки, надела шляпку от солнца и пошла. Прервав работу и опершись на вилы, он выслушал ее с таким лицом, что миссис Томпсон в первую минуту даже испугалась. Бледные глаза, минуя ее, враждебно впились в пространство, брови сдвинулись к переносице, вытянутый подбородок отвердел.

— Мне работать надо, — сказал, как отрезал, взял вилы, повернулся спиной и принялся опять кидать сено.

Миссис Томпсон, уязвленная, пошла назад, говоря себе, что пора бы, конечно, привыкнуть к обычаям мистера Хелтона, но, с другой стороны, даже если ты иностранец, можно бы все-таки вести себя повежливей, когда тебя по-христиански приглашают в церковь.

— Невежливый он, — делилась она с мистером Томпсоном, — только это одно поставишь ему в укор. Можно подумать, просто не умеет вести себя по-людски. Словно на весь свет затаил обиду, можно подумать, — сказала она. — Прямо не знаешь иной раз, как и быть.

На второй год произошел случай, который вселил в миссис Томпсон смутную тревогу, а почему — трудно объяснить даже самой себе и тем более — другим; если бы, допустим, описать его мистеру Томпсону, получилось бы страшней, чем на самом деле, либо вовсе не страшно. Из тех жутковатых случаев, какие будто несут в себе некое предостережение, хотя чаще всего ничего особенного из этого не проистекает. Дело было весной, стоял безветренный жаркий день. Миссис Томпсон сходила на огород нарвать к обеду стручковой фасоли и зеленого лука, надергать молодой морковки. Она работала, надвинув шляпу на самые глаза, складывая овощи в корзинку, морковь к моркови, фасоль к фасоли, и отмечала про себя, как чисто прополол мистер Хелтон грядки, какая тучная на них земля. Он еще с осени натаскал сюда навозу с хлебов, тщательно удобрил каждый клочок огорода, и овощ перла из земли ядреная, сочная. Обратнo миссис Томпсон пошла под узловатыми фиговыми деревьями, где неподрезанные ветки клонились почти до земли, сплетаясь густою листвою в прохладный навес. Щадя глаза, миссис Томпсон постоянно искала тени. И вот, бесцельно озираясь вокруг, она увидела сквозь завесу листьев картину, которая чрезвычайно ее поразила. Если бы этому зрелищу сопутствовал крик, все было бы вполне в порядке вещей. Ее поразило, что все совершалось в тишине. Мистер Хелтон, белый как полотно, с перекошенным, застывшим лицом, свирепо тряс за плечи Артура. Голова у Артура моталась вперед-назад, он не сопротивлялся, не тужился, как бывало, когда его пыталась встряхнуть миссис Томпсон. Глаза его глядели довольно испуганно, но главное — удивленно, удивления в них, пожалуй, было больше всего. Герберт, очень тихий, стоял рядом и наблюдал. Мистер Хелтон выпустил Артура, схватил Герберта и стал трясти с тем же ненавидящим лицом, тою же свирепой истовостью. У Герберта плаксиво наморщились губы, но он не проронил ни звука. Мистер Хелтон разжал руки, повернулся и размашисто зашагал к себе в хибарку, а мальчишки без единого

слова со всех ног припустились наутек. И скрылись за углом с фасадной стороны дома.

Миссис Томпсон последовала за ними не сразу — сперва поставила корзинку на кухонный стол, сдвинула на затылок шляпу, опять нахлобучила на самые глаза, заглянула в плиту, поправила дрова. Мальчишки, тесно привалясь друг к другу, притулились, словно обретя надежное убежище, под кустом сирени, который рос прямехонько перед окном ее спальни.

— Вы чем занимаетесь? — спросила миссис Томпсон.

Они глядели исподлобья, на бычась, — окончательно пропавшие люди. Артур буркнул:

— Ничем.

— Это *сейчас* ничем, — сказала миссис Томпсон строгим голосом. — Я вам мигом подберу занятие, и не одно. Марш в дом сию минуту, поможете мне разобраться с овощами. Сию минуту.

Они неуклюже и с большой готовностью поднялись и пошли следом, норовя держаться как можно ближе к ней. Что бы они такое могли натворить, гадала миссис Томпсон, ей совсем не улыбалось, чтобы мистер Хелтон брал на себя труд наказывать ее детей; но спросить их, за что им влетело, у нее не хватало решимости. Ну как соврут — тогда их придется уличить в этом и высечь. Или притвориться, будто веришь, и тогда они приучатся врать. Или ну как скажут правду, но такую, что все равно придется высечь. От одной мысли об этом у нее разболелась голова. Можно бы, наверно, спросить мистера Хелтона, но объясняться с ним — не ее дело. Лучше дождаться мистера Томпсона и предоставить это ему. Так размышляла миссис Томпсон, не давая между тем мальчишкам передышки.

— Герберт, ботву у морковки срежай короче, все бы тебе тят-ляп. Куда ты так мелко крошишь фасоль, Артур? Хватит, мельче не надо. Сбегай-ка, Герберт, принеси охапку дров. На, возьми лук, Артур, и вымой у колодца. Ты кончил, Герберт? Бери веник и подмети все, что тут намусорил. А ты, Артур, возьми совок и выгребви золу. Герберт, не ковыряй в носу. Сколько тебе раз повторять? Артур, у меня



в верхнем ящике комода, с левой стороны, должен быть вазелин, найдешь — принеси, я Герберту смажу нос. Поди сюда, Герберт...

Они носились как угорелые, едва поспевая, и за усиленной возней, как всякие здоровые зверята, вновь воспрянули духом; вскоре они опять выкатились во двор помериться силами в вольной борьбе. Сцепились, тузя друг друга, подставляя друг другу подножку, валились на землю, вставали, галдя, и опять барахтались, бестолково, шумно, надоедливо, точно пара щенят. Они блеяли по-овечьи, кукарекали по-петушиному, не издавая ни единого звука, похожего на человеческий, и развозили грязь по потным рожицам. Миссис Томпсон, сидя у окна, наблюдала за ними слегка озабоченно, с горделивой нежностью — такие крепкие, здоровые, так быстро растут, — но и беспокойство за них сквозило в ее болезненной полуулыбке, в прижмуренных от солнца, слезящихся глазах. Такие бездельники, такой ветер в голове, точно нет на свете ни будущего, ни заботы о спасении души, и что они все же натворили, что мистер Хелтон тряс их за плечи с прямо-таки страшным лицом?

Вечером, ни словом не обмолвясь о недобром предчувствии, которое навеяло ей это зрелище, она рассказала перед ужином мистеру Томпсону, что мистер Хелтон почему-то задал трепку их сыновьям. Он пошел в хибарку объясняться. Вернулся через пять минут и грозно воззрился на свое потомство.

— Он говорит, Элли, они, негодники, берут его гармошки, дуют в них, засорили, полно напустили слюней, и гармошки из-за этого хуже играют.

— Неужели он столько всего сказал? — спросила миссис Томпсон. — Просто неверится.

— Столько не столько, а смысл такой, — сказал мистер Томпсон. — Слова, возможно, были другие. Во всяком случае, он прямо сам не свой из-за этого.

— Позор, — сказала миссис Томпсон. — Форменный позор. Надо нам что-то придумать, чтобы они у нас раз и навсегда отучились руться в вещах мистера Хелтона.

— А я их выдеру, — сказал мистер Томпсон. — Я их вожжами так исполосую, что долго будут помнить.

— Вы бы лучше доверили порку мне, — сказала миссис Томпсон. — Дети как-никак, а у вас рука тяжеловата.

— Во-во, — закричал мистер Томпсон, — то-то и беда, разбаловали их тут до безобразия, плохо кончат, помяни мое слово. Порешь ты их, как бы не так. Поглаживаешь ласковой ручкой. Мой папаша, бывало, шархнет меня чем ни попадя, полено подвернется — поленом, я и кувырк.

— Нигде не сказано, кстати, что это правильно. Я не согласна так воспитывать детей. Насмотрелась я на такое воспитание. От него из дому сбегают.

— Я им ноги-руки поотрываю, если не будут тебя слушать, — сказал мистер Томпсон, остывая. — Я из них повышибу дурь.

— Выйдите из-за стола и ступайте мыть руки, — неожиданно приказала миссис Томпсон. — И умойтесь.

Они, точно мыши, шмыгнули за дверь, поплескались у колодца и шмыгнули назад. Они давно усвоили, что, когда мать велит мыться, это не к добру. Сели и уткнулись к себе в тарелки. Мистер Томпсон приступил к допросу:

— Так что вы можете сказать в свое оправдание? Зачем забрались к мистеру Хелтону и испортили его гармошки?

Мальчишки съежились, на лицах у них изобразилась та горестная безнадежность, с какой предстают дети перед грозной и слепой Фемидой взрослых; глаза их посылали друг другу сигналы бедствия: «Все, теперь уже точно взгреют»; их пальцы, уронив на тарелки лепешки с маслом, отчаянно вцепились в край стола.

— Ребра бы вам, по закону, пересчитать за такие дела, — сказал мистер Томпсон. — Что же, я не против.

— Да, сэр, — обмирая, шепнул Артур.

— Да, сэр, — дрожащими губами вторил Герберт.

— Папаша, — предостерегающе произнесла миссис Томпсон. Дети не удостоили ее взглядом. Они не верили, что она хочет отвести от них беду. Не она ли первая их выдала? Как же ей после этого доверять? Может, и вступится за

них, как знать, а может, и нет. Рассчитывать на нее не приходится.

— Всыпать бы по первое число, и порядок. Ведь заслужили — а, Артур?

Артур повесил голову:

— Да, сэр.

— Ну, попадись вы мне только в другой раз у дверей мистера Хелтона! С *обоих* шкуру спущу — слышал, Герберт?

— Да, с э р , — пискнул Герберт и поперхнулся, обдав стол хлебными крошками.

— А теперь сесть по-человечески и ужинать, и чтобы я от вас больше слова не слышал, — сказал мистер Томпсон, тоже принимаясь за еду.

Мальчишки несколько приободрились, зажевали усердней, но каждый раз, поднимая глаза, они ловили на себе пристальный взгляд родителей. Кто мог знать, в какую минуту родителям взбредет в голову что-нибудь новенькое? Мальчишки ели с опаской, стараясь держаться тише воды, ниже травы, маисовый хлеб застревал у них в глотках, пахта с бульканьем увлекала его за собой.

— И вот еще что, мистер Томпсон, — спустя немного сказала миссис Томпсон. — Скажите мистеру Хелтону, когда от них будет какое беспокойство, пускай не утруждает себя, не трясет их, а прямо идет к нам. Уж мы, скажите, об этом позаботимся.

— До чего же прохвосты, — отозвался мистер Томпсон. — Удивляюсь, как он вообще их терпит, пристукнул бы, и дело с концом. — Но по каким-то оттенкам в его голосе Артур с Гербертом почуяли, что на этот раз грозу пронесло. С глубоким вздохом они подняли головы, нацеливаясь подцепить себе на тарелку что-нибудь, что стоит поближе.

— Слушайте те, — сказала вдруг миссис Томпсон. Мальчишки замерли с полным р т о м . — Мистер Хелтон-то не пришел ужинать. Артур, поди скажи мистеру Хелтону, что он опаздывает. Вежливо скажи, понял?

Артур с несчастным видом сполз со стула и, не говоря ни слова, понуро поплелся к двери.

Никаких волшебных перемен не даровала фортуна маленькой молочной ферме. Томпсоны не разбогатели, хотя, как любил говорить мистер Томпсон, им не грозила богатенья, — под этим следовало разуметь, что, несмотря на Эллино слабое здоровье, капризы погоды, непредсказуемые понижения рыночных цен, а также таинственные обстоятельства, которыми отягощен был мистер Томпсон, он стоял на ногах довольно прочно. Мистер Хелтон был опорой и надеждой семейства, Томпсоны, все до единого, привязались к нему — во всяком случае, перестали в нем видеть какие-либо странности и, с расстояния, которое не умели преодолеть, смотрели на него как на хорошего человека и хорошего друга. Мистер Хелтон держался особняком, трудился, наигрывал свою песенку. Прошло девять лет. Мальчики выросли, научились работать. Они не помнили времени без мистера Хелтона, для них он был с сотворения света — старый брюзга, дылда Хелтон, швед — живой шкелет, доярка в штанах. Какими только прозвищами они его не награждали — иные, вероятно, пришлось бы ему не по нраву, если бы он услышал. Но он не слышал, да и к тому же это делалось не со зла — во всяком случае, все зло, какое было, дальше прозвищ не шло; они и родного отца величали старикан или старый хрыч, правда, за глаза. Подрастали, минуя с ходу все потайные, нечистые, скользкие пороги на своем пути, и вышли из этого испытания, в общем, невредимыми, если такое возможно. Родители видели, что ребята у них славные, положительные — пусть неотесанные, но с золотым сердцем. Мистер Томпсон с облегчением убедился, что, сам не ведая как, сумел не вырастить сыновей никчемными строгалями хлыстиков. До того получились славные ребята, что мистер Томпсон понемногу проникся уверенностью, будто они такими родились на свет и он ни разу в жизни не токмо что их не выдрал, а даже не прикрикнул на них. Герберт с Артуром никогда его в этом не разубеждали.

Мистер Хелтон — влажные от пота волосы прилипли ко взмокшему лбу, голубая, в темно-синих подтеках, блуза

пристала к ребрам — колол дрова. Наколот не спеша, всадил топор в колоду и аккуратно сложил полешки. После чего зашел за дом и исчез в своей лачуге, накрытой, заодно с поленницей, благодатной тенью от купы шелковиц. Мистер Томпсон развалился в качалке на парадном крыльце и чувствовал себя там, как всегда, неуютно. Качалка была куплена недавно, и миссис Томпсон пожелала выставить ее на парадное крыльцо, хотя самое законное место ей было на боковом, где прохладней; мистер же Томпсон пожелал обновить качалку, чем и объяснялось его присутствие на нелюбимом месте. Как только первая новизна пооботрется и Элли вдосталь накрусается обновкой, быть качалочке на боковом крыльце. А покамест август палил нестерпимым зноем, духота сгустилась в воздухе, впору дыру протыкать. Все вокруг покрылось толстым слоем пыли, хотя мистер Хелтон каждый вечер старательно поливал всю усадьбу. Направляя вверх кишку, смывал пыль даже с верхушек деревьев и крыши дома. На кухню провели воду, и во двор, для поливки, — тоже. Мистер Томпсон, должно быть, задремал, во всяком случае, едва успел открыть глаза и закрыть рот, чтобы не уронить себя перед чужим человеком, который подъехал в это время к калитке. Мистер Томпсон встал, надел шляпу, подтянул штаны и стал смотреть, как приезжий привязывает к коновязи лошадей, впряженных в легкую двуколку. Мистер Томпсон узнал и лошадей, и экипаж. Они были с извозчичьего двора в Буде. Пока приезжий открывал калитку — прочную калитку, которую несколько лет назад смастерил и навесил на тугие петли мистер Хелтон, — мистер Томпсон направился по дорожке встретить его и выяснить, какое бы это дело на божьем свете могло побудить человека в такое время дня тащиться сюда по пыли и пеклу.

Приезжий был брюхан, но с оговоркой. Похож скорее на тучного человека, который недавно спал с тела. Кожа на нем обвисла, одежда болталась мешком — так мог бы выглядеть человек, тучный от природы, когда бы он, например,

только что переболел. Мистеру Томпсону он сильно не показался, трудно сказать почему.

Снял приезжий шляпу, заговорил громко, бойко:

— Вы не мистер ли Томпсон будете, не мистер ли Ройял Эрл Томпсон?

— Он с а м ы й, — тише обычного сказал мистер Томпсон, огорошенный до потери зычности вольным обхождением со стороны незнакомого человека.

— А я буду Хэтч, — продолжал приезжий, — мистер Гомер Т. Хэтч, и я к вам насчет покупки коня.

— Видать, вам напутали что-то, — сказал мистер Томпсон. — У меня нет коня на продажу. Когда заводится продажная живность, — прибавил он, — обыкновенно пускаю слух по соседям и вешаю на забор бумажку.

Брюхан разинул рот и закатился на весь двор радостным хохотом, показывая кроличьи зубы, бурые, как подметка. Мистер Томпсон, против обыкновения, не узрел ничего смешного.

— Это у меня просто шутка давняя, — закричал приезжий. Он схватил себя одной рукой за другую и обменялся сам с собой сердечным рукопожатием. — Я так всегда говорю, когда являюсь к людям первый раз, поскольку покупатель, я приметил, никогда не сочтут за прощелыгу. Ловко, а? Хо-хо-хо.

От этой бурной веселости мистеру Томпсону стало не по себе, потому что язык у приезжего молот одно, а глаза глядели совсем иначе.

— Хо-хо, — поддержал его из приличия мистер Томпсон, так и не оценив прелесть шутки. — Только если вы это из-за меня, то напрасно, я и без того никогда не сочту человека за прощелыгу, куда он сам себя не окажет прощелыгой. На словах или же на деле, — пояснил он. — А до той поры — в моих то бишь глазах — все без разбора люди едины.

— Значит, так, — вдруг очень деловито, сухо заговорил приезжий. — Не покупщиком я к вам явился и не торговцем. Явился я к вам, будьте известны, для ради одного дельца, и в нем есть интерес для нас обоих. Да, сударь, желательно

бы мне переговорить с вами кой о чем, и для вас ни единого цента не будет в том урону.

— Это можно, думается, — с неохотой сказал мистер Томпсон. — Проходите, там, за домом, не такое солнце.

Они зашли за угол и уселись на пеньки под персидской сиренью.

— Так-то, почтеннейший, — сказал приезжий, — по имени я — Гомер Т. Хэтч, по нации — американец. Имя-то вам мое небось известно? Родич у меня жил в здешних местах, звали Джеймсон Хэтч.

— Нет, как будто не знаю, — сказал мистер Томпсон. — Слышал, правда, про каких-то Хэтчеров из-под Маунтин-сити.

— Не знаете старинный род Хэтчей? — встревожился незнакомец с видимым состраданием к человеку, который обнаружил подобное невежество. — Да мы пять десятков годов, как прибыли из Джорджии. Сами-то давно здесь?

— Всего ничего — с того лишь дня, когда родился на свет, — сказал мистер Томпсон, потихоньку ощетиниваясь. — А до меня мой папаша здесь жил, и дед. Так-то, уважаемый, мы искони тутошние. Томпсонов не приходится искать, вам их укажет всякий. Мой дед в одна тысяча восемьсот тридцать шестом году переселился на эту землицу.

— Из Ирландии, уповательно?

— Из Пенсильвании, — сказал мистер Томпсон. — С чего это вы вдруг взяли, что из Ирландии?

Приезжий разинул рот и завизжал от радости, пожимая самому себе руки, словно давно сам с собой не видался.

— Ну как же, ведь каждый-всякий *откуда-нибудь* да родом, верно я говорю?

За разговором мистер Томпсон нет-нет да и поглядывал на лицо приезжего. Кого-то оно мистеру Томпсону определенно напоминало, или, возможно, он уже видел где-то этого человека. Он силился вспомнить, но безуспешно. В конце концов мистер Томпсон заключил, что все редкозубые попросту на одно лицо.

— Верно-то верно, — довольно кисло признал мистер

Томпсон, — но я скажу другое, Томпсоны в здешних местах обосновались с таких незапамятных времен, что сегодня уже нет различия, откудава они *родом*. Теперь что же, пора нынче, конечно, нестрадная, и опять-таки всяк волен прохладиться на свой фасон, однако ж у каждого из нас есть чем заняться, то есть я вас никак не тороплю, но, короче, если у вас ко мне дело, давайте, может, и перейдем к нему.

— Это, как говорится, и да, и нет, с какой стороны посмотреть, — сказал брюхан. — Словом, я ищу одного человечка по имени Хелтон, мистер Олаф Эрик Хелтон, из Северной Дакоты, поспрашивал кругом — сказали, будто его можно найти у вас, а мне бы не мешало с ним перемолвиться словом. Очень бы не мешало, сударь вы мой, если вы, натурально, не против.

— Насчет Эрика слышу первый раз, — сказал мистер Томпсон, — а мистер Хелтон точно, здесь, и притом почитай уже девять лет. Мужик он степенный, основательный, о чем можете с моих слов повторить кому угодно.

— Рад слышать, — сказал мистер Гомер Т. Хэтч. — Всегда приятно узнать, что кто-то образумился и остепенился. Ну, а я знавал мистера Хелтона в те дни, когда он был совсем непутевый, — да, сударь, беспутный был человечиска и отвечать сам за себя не мог нисколько. Так что большое это будет для меня удовольствие повстречаться со старым знакомым и порадоваться, что он взялся за ум и благоденствует.

— Молодость, — произнес мистер Томпсон. — Раз в жизни все мы бываем такими. Наподобие кори — обметет тебя, не видать живого места, ты и сам-то себе не рад, и другим в тягость, ну а потом пройдет, и по большей части без дурных последствий. — Довольный сравнением, он забылся и гоготнул. Приезжий сложил руки на брюхе и просто-напросто зашелся, надрывно, со всхлипами, до слез. Мистер Томпсон разом осекся, глядя на него с неловкостью. Он тоже был не дурак посмеяться, чего греха таить, но надо же все-таки знать меру. Мужчина хохотал как одержимый, честное слово. И главное, вовсе не потому, что ему было действи-



тельно смешно. Он хохотал неспроста, с расчетцем. В хмуром молчании мистер Томпсон ждал, пока мистер Хэтч немного утихнет.

Наконец мистер Хэтч вытащил голубой бумажный платок далеко не первой свежести и утер глаза.

— Под самый дых вы угодили мне своей шуткой, — сказал, словно оправдываясь. — Это надо же так уметь! Мне бы в жизни не додуматься. Прямо-таки дар божий, прямо...

— Если хотите побеседовать с мистером Хелтоном, я схожу его кликну, — сказал мистер Томпсон, производя телодвижения, показывающие, что он готовится встать на ноги. — Он в такой час или в молочном погребе, или же сидит у себя в хибарке. — Время близилось к пяти. — Она тут, сразу за углом, — прибавил он.

— Да ладно, особого спеху нет, — сказал мистер Хэтч. — Я давненько мечтаю об такой беседе, лишняя минутка туда-сюда уже не играет роли. Для меня важнее было, как говорится, засечь, где он есть. Всего-то навсего.

Мистер Томпсон перестал делать вид, что готовится встать, расстегнул еще одну пуговку на рубашке и сказал:

— В общем, здесь он, и не знаю, какие у вас с ним дела, только он не захочет откладывать их в долгий ящик, не такой он человек. Что-что, а валандаться понапрасну он не любит.

Мистер Хэтч как будто слегка надулся при этих словах. Он вытер лицо платком, открыл рот, собираясь заговорить, и в эту минуту из-за дома донеслись звуки мистерхелтоновой гармошки. Мистер Томпсон поднял палец.

— Это он, — сказал мистер Томпсон. — Самая для вас подходящая минута.

Мистер Хэтч встрепенулся, наставив ухо на восточный угол дома, и прислушался, с очень странным выражением лица.

— Я эту музыку выучил как свои пять пальцев, — сказал мистер Томпсон, — хотя мистер Хелтон никогда не рассказывал, что это такое.

— Это такая скандалавская песенка, — сказал мистер Хэтч. — У нас ее распевают и стар и млад. В Северной то

бишь Дакоте. Поется в ней примерно вот про что — дескать, выйдешь поутру из дому, и такая благодать на душе, прямо невтерпеж, и от этого ты всю выпивку, какую взял с собой, употребишь, не дожидаясь полудня. Которую, понимаете, припасал к полднику. Слова в ней — ничего особенного, а мотивчик приятный. Вроде как бы застольная песня.

— Насколько я з н а ю , — сказал мистер Томпсон , — у него капли не было во рту спиртного за все время, покуда он здесь, а тому сравняется в сентябре девять лет. Да, сударь, девять годков, и хоть бы раз промочил горло. Насколько я знаю. Про себя такое сказать не м о г у , — прибавил он покаянно, однако не без самодовольства.

— Застольная песня, д а , — продолжал мистер Хэтч . — Я сам игрывал на скрипке «Кружку пива», но то — когда был помоложе, а Хелтон этот, он пристрастился намертво. Сядет один-одинешенек и давай выводить.

— Девять лет играет ее, с первого дня, как пришел , — сказал мистер Томпсон, со скромной гордостью обладателя.

— А за пятнадцать лет до того, в Северной Дакоте, еще и распевал ее б ы в а л о , — подхватил мистер Хэтч . — Сидит это прямо, с позволения сказать, в смирительной рубашке, когда заберут в сумасшедший дом...

— Что-что? — сказал мистер Томпсон . — Что вы такое сказали?

— Эхма, ведь не хотел говорить , — крикнул мистер Хэтч, как бы с оттенком досады в косом взгляде, брошенном из-под нависших бровей . — Эхма, ненароком вырвалось. Незадача какая, твердо решил, не скажу ни словечка, не для чего баламутить людей, я ведь как рассуждаю, прожил человек девять лет тихо-мирно, безвредно, и даже если он сумасшедший, что за важность, верно? Жил бы лишь и дальше тихо-мирно, никого не задевая.

— Его что же, держали в смирительной рубашке? — спросил мистер Томпсон с неприятным чувством . — В сумасшедшем доме?

— А как ж е , — подтвердил мистер Хэтч . — Там и держали время от времени, где же еще.

— На мою тетку Айду надевали такую фиговину в местной больнице, — сказал мистер Томпсон. — Как впала в буйство, нацепили на нее хламидину с длиннющими рукавами и привязали к железному кольцу в стене, а тетка Айда от этого совсем взбесилась, и лопнула в ней жила, приходят, глядят — а она не дышит. Думается, небезопасное это средство.

— Мистер Хелтон в смиренной рубашке распевал свою застольную песню, — сказал мистер Хэтч. — Так-то его ничем было не пронять, разве что попробуешь вызвать на разговор. Этим его пронять ничего не стоило, и он впадал в буйство, не хуже вашей тетушки Айды. А впадет в буйство, на него наденут рубашку, бросят его и уйдут, а он полеживает и, по всему видать, в ус не дует, знай распевает застольную песню. Ну, а потом, как-то ночью, возьми да сгинь. Ушел и, как говорится, точно сквозь землю провалился, ни слуху больше, ни духу. И вот приезжаю я к вам, и что же в и жу, — сказал мистер Хэтч, — тут как тут он, распрекрасно прижился и играет все ту же песенку.

— Не замечал я, чтобы он вел себя как тронутый, — сказал мистер Томпсон. — А замечал, что во всем ведет сам себя как разумный человек. Одно уже то, что не женится, и притом работает как вол, и, спорю, что по сей день целехонек у него первый цент, который я заплатил ему, когда он здесь объявился, да к тому же не пьет, словечка никогда не проронит, тем более бранного, никуда не шляется зазря по субботним вечерам, и если он после этого тронутый, — сказал мистер Томпсон, — тогда, знаете, я и сам, пожалуй, не прочь тронуться умом.

— Ха-ха-а, — произнес мистер Хэтч, — хе-хее, вот это мысль! Ха-ха-ха, мне такое не приходило в голову. Ну, правильно! Давайте все тронемся, жен — побоку, денежки — в сундук, так, что ли? — Он нехорошо усмехнулся, показывая мелкие кроличьи зубы.

Мистер Томпсон почувствовал, что его не хотят понять. Он оглянулся и кивнул на окошко за шпалерой жи-молости.

— Давайте-ка перейдем отсюда, — сказала она. — Как это я не подумал раньше. — Мистеру Томпсону было не по себе с приезжим. Тот умел подхватывать мистертомпсоновы слова на лету, вертеть, крутить, переиначивать, пока мистер Томпсон уже и сам не знал, так он говорил или не так. — У супруги моей не шибко крепкое здоровье, — сказал мистер Томпсон. — Вот уже четырнадцатый год не вылезает из болезней. Большая это тягость для небогатого человека, когда в семействе заведется хворь. Четыре операции перенесла, — сказал он с гордостью, — кряду одну за другой, и все одно не помогло. Битых пять лет, что ни выручу, все до гроша уходило на врачей. Короче, очень деликатного здоровья женщина.

— У меня старуха, — сказал мистер Гомер Т. Хэтч, — железный имела хребет, мул бы позавидовал, ей-ей. Этой бабе нипочем было сарай своротить голыми руками, если бы пришла такая фантазия. Спасибо еще, иной раз скажешь, сама не знала меру своей могучности. Да померла вот. Такие-то скорей изнашиваются, чем нежели мозглячки. Не терплю я, когда баба вечно ноет. Я бы отделался от такой в два счета, верьте слову, в два счета. Таковую кормить-поить — один чистый убыток, это вы очень хорошо сказали.

Мистер Томпсон и не помышлял говорить ничего подобного, он клонил к тому, что когда у мужчины такая дорогая жена, это, напротив, к его чести.

— Моя — женщина рассудительная, — продолжал мистер Томпсон, отчасти сбивый с толку. — Но не поручусь, что может сказать и сделать, коли проведает, что столько годов у нас обретается сумасшедший. — К этому времени они ушли от окна; мистер Томпсон повел мистера Хэтча передней дорожкой, потому что задняя вывела бы их к лагуге мистера Хелтона. Почему-то ему не хотелось подпускать приезжего близко к мистеру Хелтону. Непонятно отчего, но не хотелось.

Мистер Томпсон снова сел, теперь уже на колоду для колки дров, а приезжему опять указал на пенек.

— Когда-то, — сказал мистер Томпсон, — я бы и сам всполохнулся по такой причине, но теперь *перенебрегаю* и

берегу свой покой. — Отхватил себе роговым перочинным ножом преогромный кус табаку, предложил и мистеру Хэтчу, который, в свой черед, незамедлительно полез за табаком, раскрыл тяжелый охотничий нож с остро наточенным длинным лезвием, отрезал тоже изрядный кусок и сунул в рот. После чего они обменялись соображениями насчет жевательного табаку, и каждый поразился, обнаружив, до чего несхожи у разных людей представления о его достоинствах.

— Мой, к примеру, — говорил мистер Хэтч, — светлей по цвету. А почему? Перво-наперво, ничем не подслащено. Я уважаю лист сухой, натуральный, и чтобы средней крепости.

— Не, подсластить малость, на мой вкус, невредно, — говорил мистер Томпсон, — но только чтобы самую малость. Я-то, например, уважаю ядреный лист, чтобы в нос шибало, с позволения сказать. Тут живет поблизости один Уильямс, мистер Джон Морган Уильямс, — во, сударь, табак жует — черный, что ваша шляпа, мягкий, что расплавленный вар. Буквально истекает патокой, представьте, жуешь его, как лакрицу. По моему понятию, это не табак.

— Что одному здорово, — заметил мистер Хэтч, — то другому — смерть. Я бы от такой жвачки вообще подавился. В рот бы ее не взял.

— Да и я, можно сказать, едва попробовал, — чуть виновато сказал мистер Томпсон. — Взял махонький кусочек и сразу выплюнул.

— А я бы даже и на это не пошел, ручаюсь, — сказал мистер Хэтч. — Я признаю табачок сухой, натуральный, без никаких посторонних примесей.

Кажется, мистер Хэтч мнил себя докой по табачной части и готов был спорить, покамест не докажет это. Кажется, этот брюхан начинал не на шутку раздражать мистера Томпсона. Кто он такой, в конце концов, и откуда взялся? Кто такой, чтобы ходить и поучать людей направо-налево, какой им жевать табак?

— Посторонние примеси, — упрямо бубнил свое мистер Хэтч, — добавляют лишь только затем, чтобы перебить при-

вкус дешевого листа, внушить тебе, что ты жуешь на доллар, когда ты жуешь на цент. Если хоть малость подслащено, это признак, что лист дешевый, попомните мое слово.

— Я платил и плачу за табак хорошие деньги, — сухо сказал мистер Томпсон. — Человек я небогатый, и богачом ни перед кем себя не выставляю, но, однако же, скажу прямо — что касается до таких вещей, как табак, покупаю наилучший, какой только есть на рынке.

— Если подслащено, пускай хотя бы самую малость, — завел опять мистер Хэтч, перегоняя жвачку за другую щеку и обдавая табачным соком изнуренного вида розовый кустик, которому и без того-то несладко было торчать день-деньской на солнцепеке, застряв корнями в спекшейся земле, — это признак, что...

— Так вот насчет мистера Хелтона, — решительно сказал мистер Томпсон. — Не вижу никакой причины ставить человеку в вину, если он разок-другой в жизни свихнулся, и никакими на это шагами отвечать не собираюсь. Ни полшагом. Ничего не имею против него, ничего, помимо добра, от него не видел. Нынче такие творятся дела, такие водятся люди, — продолжал он, — что кто хочешь свихнется. Такое сегодняшней день творится на свете, что приходится удивляться, как это еще маловато народу кончает смирительной рубашкой.

— Вот именно, — подхватил мистер Хэтч с живостью — и какой-то излишней живостью, будто бы только и ждал минуты вывернуть мистертомпсоновы слова наизнанку. — Это самое я и хотел сказать, да вы меня обогнали. Не каждый еще сидит в смирительной рубашке, кому бы следовало. Ха-ха, это вы верно, очень верно. Правильно мыслите.

Мистер Томпсон промолчал, размеренно жуя, уставив взгляд в одну точку шагах в пяти от себя, чувствуя, как откуда-то изнутри в нем понемногу нарастает глухая вражда — нарастает и заполняет его без остатка. Куда он клонит, этот хмырь? К чему ведет разговор? Ладно бы только слова, но поведение, но эти ужимки — бегающие глаза, обидный голос, — он точно норовил уколоть мистера Томпсона побольнее, а за что? Все это не нравилось мистеру Томпсону и

повергало его в недоумение. Развернуться бы и спихнуть незваного гостя с пенька, да вроде не резон. Не ровен час, приключится с ним что, когда полетит на землю, к примеру заденет топор и поранится, спросят мистера Томпсона, зачем пихнул — что тогда говорить? Дескать, разминулись маленько по части жевательного табаку? Довольно дико. Довольно-таки подозрительно будет выглядеть. Можно бы все равно спихнуть, а людям объяснить, что мужчина рыхлый, непривычный к жаре, сомлел за беседой и свалился самостоятельно, — в таком духе, и опять это будет вранье, ни при чем тут жара и ни при чем жевательный табак. Мистер Томпсон решил не показывать виду, а поскорей спровадить приезжего с фермы, да глаз с него не спускать, покуда не скроется на дороге. Себе дорожке привечать нездешних, пришлых из чужих мест. Обязательно они замышляют что-нибудь, а иначе сидели бы по домам как порядочные.

— Есть люди, — продолжал мистер Хэтч, — которые держат сумасшедших у себя в доме и бровью не ведут, для них что сумасшедший, что нет — без разницы. И по-моему, если кто держится такого понятия, то и пусть, и пускай, это ихняя забота, не моя. У нас дома, в Северной Дакоте, правда, понятия другие. Хотел бы я видеть, как у нас возьмут внаймы сумасшедшего, в особенности после того, что он отмочил.

— Я думал, вы родом-то не из Северной Дакоты, — сказал мистер Томпсон. — Вы, кажется, говорили, что якобы из Джорджии.

— У меня сестра замужем в Северной Дакоте, — сказал мистер Хэтч. — За шведа вышла, но малый золото, я лучше не встречал. Я потому говорю у нас, потому что у нас там запущено с ним совместно небольшое дельце. Ну и сроднился я вроде как с теми местами.

— Что же он отмочил? — спросил мистер Томпсон, снова с очень неприятным чувством.

— Э, пустяки, не о чем толковать, — игриво отозвался мистер Хэтч. — Копнил в один прекрасный день сено на лугу, сбрендил и всего-то навсего проткнул насквозь вилами родного брата, вдвоем они работали. Собирались его казнить, ну

а после обнаружилось, что это он, как говорится, сбрендил от жары, и посадили в сумасшедший дом. Только-то и делов, больше он ничего такого не позволял. Нет причины всполохнуться, ха-ха-ха! — сказал и, вытащив свой острый нож, стал отпиливать себе кусочек жвачки так бережно, точно резал сладкий пирог.

— Х м , — молвил мистер Томпсон. — Это новость, не скрою. Да, знаете ли, новость. И все-таки, я скажу, наверняка его чем-нибудь довели. Иной даже взглянуть умеет так, что, мнится, убил бы его до смерти. Почем знать, возможно, братец его был распоследний ползучий сукин кот.

— Брат собирался жениться, — сказал мистер Хэтч, — ходил по вечерам ухаживать за своей любезной. Затеял раз исполнить ей серенаду, взял у мистера Хелтона, не спросясь, губную гармошку — и потерял. Новехонькая была гармошка.

— Страсть как высоко ставит эти свои гармошки, — сказал мистер Томпсон. — Ни на что больше не тратит деньги, а новую гармошку, глядишь, и купит. У него их в хибарке, надо быть, десятка полтора, всяческих сортов и размеров.

— Брат не пожелал купить ему новую гармошку, ну а мистер Хелтон, как я уже говорил, и пырни брата вилами, недолго думаючи. Ясно, что не в своем был уме, коли мог эдак взбелениться из-за сущей малости.

— Похоже, что т а к , — нехотя сказал мистер Томпсон, досадуя, что приходится хотя бы в чем-то соглашаться с этим назойливым и неприятным человеком. Он просто не помнил случая, чтобы кого-нибудь так сильно невзлюбил с первого взгляда.

— Вам, поди-ка, набило оскомину из года в год слушать одну и ту же п е с н ю , — сказал мистер Хэтч.

— Да приходит изредка в голову, что не вредно бы ему разучить н о в у ю , — сказал мистер Томпсон. — Но не разучивает, стало быть, ничего не попишешь. Песенка, тем более, славная.

— Мне один скандалавец объяснил, про что в ней поется,



почему я и з н а ю , — сказал мистер Хэтч. — То место, особенно, насчет выпивки — что ты ее всю, какая есть при себе, прикончил до полудня, столь у тебя расчудесно на душе. У них, в шведских странах, никто носу не кажет из дому без бутылки вина, по крайности, я так понял. Хотя это такой народ, наплетут тебе... — Он не договорил и сплюнул.

От мысли о выпивке в такую жару мистера Томпсона замутило. От мысли, что кому-либо может быть хорошо в такой денек, как сегодня, к примеру, его сморила усталость. Зной терзал его нестерпимо. Брюхан, казалось, прирос к пеньку, грузно обмякнув на нем в своем мешковатом, темном, влажном от пота костюме, пузо его обвисло под штанами, черная фетровая шляпа с широкими полями съехала на затылок с узкого лба, багрового от потницы. Эх, пивка бы сейчас холоденького, думал мистер Томпсон, вспоминая, что на погребке давно уже остывают в бочажке четыре бутылки, и его пересохший язык вождеденно скорчился во рту. Только этому паршивцу от него ничего не дожидаться, даже глотка воды. С ним даже табак-то за компанию жевать противно. Мистер Томпсон вдруг выплюнул свою жвачку, отер губы тыльной стороной ладони и внимательно пригляделся к голове в черной шляпе. Недобрый человек, и не с добром пришел, но что он все же замышляет? Мистер Томпсон решил, что даст ему еще немного времени, пускай покончит со своим делом к мистеру Хелтону, — и что за дело такое? — а потом, если сам не уберется подобру-поздорову, вытолкает его взащей.

Мистер Хэтч, словно подслушав мистертомпсоновы мысли, обратил к нему свои злобные свиные глазки.

— Тут вот какая история, — сказал он, как бы приняв наконец решение, — мне в этом моем дельце может от вас потребоваться подмога, но вы не бойтесь, вам это не доставит хлопот. Видите, этот самый мистер Хелтон, он, как я уже вам докладывал, опасный психический больной, и к тому же, прямо скажем, беглый. А я, понимаете ли, за последние двенадцать лет, или около того, отловил голов двадцать

беглых психов, не считая двух-трех арестантов, которые подвернулись заодно, по чистой случайности. Занялся я этим не из расчета, хотя, если обещано вознаграждение — а оно, большей частью, бывает обещано, — я, само собой, его получаю. Помаленьку набегают приличные деньжишки, но не это главное. Главное, я стою за закон и порядок, мне не нравится, когда преступники и сумасшедшие гуляют на свободе. Им здесь не место. В этом вопросе, надо надеяться, вы со мной наверняка согласны, правда?

Мистер Томпсон сказал:

— Ну, это смотря по обстоятельствам. Сколько я наблюдаю мистера Хелтона, в нем, говорю вам, ничего опасного нету. — Надвигалось что-то серьезное, это было очевидно. Мистер Томпсон заставил себя думать о другом. Пусть этот хмырь выболтается, а там видно будет, как поступить. Не подумав, он вытащил нож и табак, приготовился было отрезать себе жвачку, но спохватился и сунул то и другое назад в карман.

— Закон, — сказал мистер Хэтч, — целиком на моей стороне. Этот, знаете, мистер Хелтон у меня едва не самый заковыристый случай. Кабы не он, я имел бы сто процентов успеха в работе. Я знавал его до того, как он свихнулся, и с семейством ихним знаком, вот и вызвался подсобить с отловом. А он, мил-человек, пропал, ровно в воду канул, и неизвестно. Свободно можно было списать в покойники, за сроком давности. Нам, пожалуй, так и не настигнуть бы его вовсе, но тут знаете чего он учинил? Примерно, сударь мой, недельки две назад получает от него старушка мать письмецо, и что бы вы думали, в том письме находит? Представьте, чек на захудалый банк в нашем городишке, ни много ни мало на восемьсот пятьдесят долларов — особо интересного в письме не сказано, дескать, посылает ей долю своих скромных сбережений, может статься, она в чем терпит нужду, но на письме — пожалуйста: почтовый штемпель, число, все что надо! Старуха просто-напросто ополоумела от радости. Она уже впадает в детство и позабыла, что ли, видимо, что единственный сынок, какой

у нее остался в живых, спятил и своими руками порешил родного брата. Мистер Хелтон сообщал, что живет хорошо, и наказывал ей держать язык за зубами. Ну, а как утаишь, когда за деньгами нужно с чеком идти в банк и прочее. Почему до меня и дошло. — Мистер Хэтч не мог сдержать ликования. — Я буквально так и сел. — Он обменялся сам с собой рукопожатием и заколыхался, крутя головой, выталкивая из глотки: «Хе-хе-хе». У мистера Томпсона невольно поползли вниз углы рта. Ах ты гнида, пес поганый, — шнырять вокруг, вынюхивать, лезть не в свои дела! За тридцать сребреников продавать людей! Ну-ну, болтай дальше!

— Да уж, действительно неожиданность, — сказал он, стараясь не показывать виду. — Действительно есть чему удивиться.

— И вот, сударь вы мой, — продолжал мистер Хэтч, — чем я больше раздумывал, тем сильнее укреплялся, что не мешает вникнуть в эту маленькую историю. Иду потолковать со старухой. Старушонка уже никудышная, наполовину слепая, но, между прочим, совсем снарядилась ехать на первом поезде спроведать сыночка. Я ей без утайки — так и так, куда ей, ледащей, пускаться в дорогу и прочее. Так уж и быть, говорю, согласен, из чистой любезности, взять с нее на дорожные издержки, съездить к мистеру Хелтону и привезти ей все новости. Дала она для него гостинцы — рубаху, сама сшила на руках, и огромный шведский пряник, только они у меня, должно, запропалились куда-то по пути. Ну, да невелика беда, он, чай, в своем помутнении и порадоваться-то на них не сумел бы.

Мистер Томпсон выпрямился на своей колоде, повернулся и окинул мистера Хэтча взглядом.

— И как же вы намереваетесь действовать? — спросил он, сдерживаясь изо всех сил. — Вот что интересно знать.

Мистер Хэтч кое-как встал на ноги и встряхнулся.

— На случай, если выйдет небольшая стычка, у меня все предусмотрено, — сказала она. — Взял с собой наручники, — сказал он, — но нежелательно пускать в ход силу, коли

можно уладить миром. Я здесь поблизости никому ничего не рассказывал, не хотел подымать шум. Прикидывал, что мы с вами в паре совладаем с ним. — Он запустил руку в поместительный внутренний карман и вытянул их оттуда. Наручники, думал мистер Томпсон, тьфу, нечистая сила. Нагрнуть за здорово живешь в приличный семейный дом, когда вокруг на свете тишь да гладь, мутить воду, будоражить людей, размахивать у них перед носом наручниками — так, словно это в порядке вещей.

Мистер Томпсон, ощущая в голове легкий гул, тоже встал.

— Ну вот что, — произнес он твердо. — Незавидную вы себе подобрали работенку, скажу я вам, видать, совсем уже делать не черта, а теперь хочу вам дать хороший совет. Если вы вздумали, что можно явиться сюда и пакостить мистеру Хелтону, так сразу выкиньте это из головы, и чем вы скорей уберетесь от моей калитки со своей наемной колымагой, тем больше мне будет удовольствия.

Мистер Хэтч опустил один наручник в боковой карман, оставив другой болтаться снаружи. Он надвинул шляпу на глаза, и мистер Томпсон уловил в его облике отдаленное сходство с шерифом. Незаметно было, чтобы он хоть чуточку смутился или обратил хоть малейшее внимание на мистертompсоновы слова. Он сказал:

— Одну минуточку, послушайте, никогда не поверю, что такой человек, как вы, будет препятствовать, чтобы беглого психа возвернули туда, где ему положено быть, а проще выразиться, в сумасшедший дом. Я знаю, тут есть от чего расстроиться, то-се, плюс к тому неожиданность, но, честно говоря, я рассчитывал, что вы, как солидный человек, подмогнете мне навести законный порядок. Понятно, если не у вас, то придется поискать подмогу в другом месте. Уж не знаю, как посмотрят ваши соседи, что вы укрывали у себя беглого сумасшедшего, убийцу родного брата, а потом отказались его выдать. Не чудно ли это будет выглядеть.

Мистер Томпсон, не дослушав даже, уже понял, что очень чудно. Он окажется в крайне неприятном положении. Он начал:

— Не сумасшедший он больше, говорю же я вам. Мухи не обидел за девять лет. Он нам... он у нас...

Мистер Томпсон запнулся, тщетно порываясь выразить, что такое мистер Хелтон.

— Да он для нас все равно что родной, — сказал он, — опора, каких в свете нет. — Мистер Томпсон пытался нащупать какой-то выход. Это факт, что мистер Хелтон может в любую минуту свихнуться опять, а тут еще этот хмырь пойдет трепать языком по всей округе — как же быть? Жуткое положение. И выхода не придумаешь. — Сам ты псих, — взревел вдруг мистер Томпсон, — это ты сумасшедший, других здесь нету, ты психованней его в тыщу раз! Пошел отсюда, пока я тебе самому не надел наручники и не сдал в полицию. Ты по какому праву вломился на чужую землю, — гремел мистер Томпсон. — Пшел вон, куда по шее не наkostenяляли!

Он шагнул вперед; брюхан съежился, попятился назад: «Попробуй тронь, попробуй только!» — а дальше произошло то, что мистер Томпсон сколько потом ни силился свести воедино в своем сознании, ничего путного не получалось. Он увидел, что брюхан держит в руке длинный охотничий нож, увидел, как из-за угла, размахивая руками, выбежал мистер Хелтон — длинная челюсть отвисла, глаза безумные. Сжав кулаки, мистер Хелтон стал между ними и вдруг замер, уставясь на брюхана белыми глазами, его долговязый костяк точно вдруг распался, он задрожал, как испуганный конь, и тогда, с ножом в одной руке, с наручниками в другой, брюхан двинулся на него. Мистер Томпсон видел, что сейчас совершится, видел уже, как входит лезвие ножа мистеру Хелтону в живот, он знал, что схватился за топор, выдернул его из колоды, почувствовал, как его руки заносят топор в воздух и с размаху опускают на голову мистера Хэтча тем движением, каким оглушают скотину.

Миссис Томпсон уже некоторое время с беспокойством прислушивалась, как во дворе не смолкают голоса, причем один — незнакомый, но от усталости не торопилась встать

и выйти поглядеть, что там делается. Вдруг, без всякого перехода, раздалась сумбурные выкрики, и она, вскочив с кровати, как была босиком, с полурасплетенной косой, кинулась наружу с переднего крыльца. И первое, что увидела, заслонив глаза рукой, — через сад, согнувшись в три погибели, убегает мистер Хелтон, убегает, словно за ним гонятся с собаками, а мистер Томпсон, опершись на топориче, нагнулся и трясет за плечо неизвестного ей мужчину, который скорчился, лежа с пробитым черепом, и кровь, стекая на землю, собирается маслянистой лужицей. Мистер Томпсон, не отнимая руки от его плеча, сказал сипло:

— Он убил мистера Хелтона, убил, я сам видел. Пришлось шархнуть его, — сказал он, подняв голос, — а теперь он никак не опамятуется.

У миссис Томпсон вырвался слабый вопль:

— Да вон он бежит, мистер Хелтон, — и она показала рукой. Мистер Томпсон выпрямился и посмотрел в ту сторону. Миссис Томпсон медленно осела, сползая по стене дома, и стала неудержимо клониться вниз, лицом вперед, с таким чувством, будто уходит под воду; ей никак не удавалось выплыть на поверхность, и единственная мысль ее была, хорошо, что при этом нет ее мальчиков — их не было дома, уехали в Галифакс ловить рыбу, — боже мой, хорошо, что при этом нет ее сыновей.

Мистер и миссис Томпсон подъехали к каретному сараю почти что на закате. Мистер Томпсон, передав жене вожжи, слез и пошел открывать широкие двери; миссис Томпсон завела старого Джима под крышу. Коляска была серая от пыли и старости, лицо у миссис Томпсон, от пыли и утомления, — тоже серое, а у мистера Томпсона, когда он, став подле конской головы, принялся распрягать, серый цвет лица перебивала темная синева свежевыбритых щек и подбородка — серое с синим лицо, осунувшееся и терпеливое, как у покойника.

Миссис Томпсон сошла на плотно утрамбованный на-

возный пол сарая и отряхнула юбку легкого, в цветущих веточках, платья. На ней были дымчатые очки; широкополая, итальянской соломки, шляпа с веночком истомленных розовых и голубых незабудок затеняла ее горестно нахмуренный лоб.

Конь понурил голову, шумно вздохнул и расправил натруженные ноги. Глухо, тускло раздались мистертомпсоновы слова.

— Бедный старый Джим, — сказал он и прочистил глотку, — гляньте, аж бока запали. Намаялся, видно, за неделю. — Он разом приподнял всю сбрую, снял ее, и Джим, чуточку помедлив, вышел из оглобель. — Ну уж ладно, последний раз, — по прежнему обращаясь к Джиму, сказал мистер Томпсон. — Отдохнешь теперь в полную волюшку.

Миссис Томпсон, за дымчатыми стеклами очков, прикрыла глаза. Последний раз — и давно бы пора, и вообще бы никуда им не ездить. Вновь спускалась благодатная тьма, и очки, по сути, не требовались, но глаза у нее непрерывно слезились, хотя она и не плакала, и в очках было лучше, надежнее, за ними можно было укрыться. Дрожащими руками — руки у нее стали дрожать с *того* дня — она вынула носовой платок и высморкалась. Сказала:

— Я вижу, ребята зажгли свет. Будем надеяться, что и плиту растопить догадались.

Она двинулась вдоль неровной дорожки, прихватив рукой легкое платье вместе с крахмальной нижней юбкой, нащупывая себе путь между мелкими острыми камешками, торопясь покинуть сарай, потому что ей было неважно возле мистера Томпсона, но стараясь ступать как можно медленнее, потому что ужасно было возвращаться домой. Ужасом стала вся жизнь; лица соседей, сыновей, лицо мужа, лик всего света, очертания собственного дома, даже запах травы и деревьев — все наводило жуть. Податься было некуда, делать оставалось одно — как-то терпеть, только как? Она часто спрашивала себя об этом. Как ей дальше жить? Для чего она вообще осталась в живых? Сколько раз тяжело

болела — лучше бы ей тогда умереть, чем дожить до такого.

Мальчики были на кухне; Герберт разглядывал веселые картинки в воскресном номере газеты — «Горе-герои», «Тихоня из Техаса». Он сидел, облокотясь на стол и подперев ладонями подбородок, — честно читал, смотрел картинки, а лицо было несчастное. Артур растапливал плиту, подкладывал по щепочке, наблюдая, как они занимают и вспыхивают. Черты его лица были крупней, чем у Герберта, и сумрачней, впрочем, он был несколько угрюм по природе; а потому, думала миссис Томпсон, ему тяжелей достается. Артур сказал:

— Добрый вечер, м а м , — и продолжал заниматься своим делом. Герберт собрал в кучу газетные листки и подвинулся на скамейке. Совсем большие — пятнадцать лет и семнадцать, Артур уже вымахал ростом с отца. Миссис Томпсон села рядом с Гербертом и сняла шляпу.

— Небось есть хотите, — сказала она. — Припозднились мы нынче. Ехали Поленной балкой, а там что ни шаг, то колдобина. — Ее бледные губы поджалась, обозначив с обеих сторон по горькой складочке.

— Раз так, значит, заезжали к Маннингам, — сказал Герберт.

— Да, и к Фергусонам тоже, и к Олбрайтам, и к новым этим — Маклелланам.

— Ну и чего говорят? — спросил Герберт.

— Ничего особенного, все то же, сам знаешь, кое-кто повторяет — да, мол, понятно, случай ясный и суд решил справедливо, они так рады, что для папы все кончилось удачно, и тому подобное, — но это кое-кто, и видно, что сами в душе не очень-то держат его сторону. Замучилась я, нет сил, — сказала она, и из-под темных очков опять покатались слезы. — Уж не знаю, много ли в том пользы, но папа иначе не может успокоиться, обязательно ему надо рассказывать, как все вышло. Не знаю.

— Нисколько, по-моему, нету пользы, ни капли, — сказал Артур, отходя от плиты. — Пойдет каждый каждому



плести, чего кто слышал, и еще хуже запутают, концов не найдешь. От этого только хуже. Ты бы сказала папе, хватит ему колесить по округе с этими разговорами.

— Папа лучше знает, — сказала миссис Томпсон. — Не вам его осуждать. Ему и без этого тяжело.

Артур промолчал, упрямо играя желваками. Вошел мистер Томпсон — глаза ввалились и потухли, тяжелые руки иссера-белые и в грубых морщинах от усиленного мытья каждый день перед тем, как ехать по соседям и рассказывать им, как это все получилось на самом деле. Он был в парадном костюме из толстой, серой в крапинку материи и при черном, дудочкой, галстуке.

Миссис Томпсон встала, превозмогая дурноту.

— Ну-ка подите все из кухни, душно, нечем дышать, да и повернуться здесь негде. Я что-нибудь приготовлю на ужин, а вы ступайте, освободите мне место.

Они ушли, как будто радуясь, что для этого нашелся повод; сыновья — во двор, мистер Томпсон — к себе в спальню. Она слышала, как он кряхтит, стаскивая ботинки, как застонала под ним кровать, — значит, лег. Миссис Томпсон открыла ледник, и ее обдало блаженной прохладой — она и не мечтала, что когда-нибудь сможет купить себе ледник, а уж тем более — держать его набитым льдом. Тому почти три года, и до сих пор это похоже на чудо. Вот она стоит, еда, холодная, нимало не тронута — бери и разогревай. В жизни ей не иметь бы этого ледника, когда б в один прекрасный день судьба, по непонятной прихоти, не привела к ним на ферму мистера Хелтона, такого бережливого, умелого, такого хорошего, думала миссис Томпсон, прикинув головой к открытой дверце ледника и опасаясь, как бы опять не потерять сознание, потому что сердце, ширясь, подступало ей к самому горлу. Просто невыносимо было вспоминать, как мистер Хелтон, с вытянутым своим, печальным лицом и молчаливой повадкой, всегда такой тихий, безобидный — мистер Хелтон, который работал с таким усердием, таким был помощником мистеру Томпсону, — бежал по раскаленным от солнца

полям и перелескам, и его гнали, точно бешеного пса, всем миром, вооружась веревками, ружьями, палками, лишь бы схватить, связать. Боже ты мой, думала миссис Томпсон, с сухим, протяжным рыданием опускаясь на колени у ледника и ощупью доставая оттуда миски с едой, что с того, что настелили ему на пол камеры матрасов, обложили ими стены и еще держали впятером, чтобы не нанес себе новые увечья, — что с того, его и так уже чересчур изувечили, ему бы все равно не выжить. Это сказал ей шериф, мистер Барби. Понимаете, говорил он, никто его не рассчитывал калечить, но как было иначе изловить, когда он пришел в такое бешенство, что не подступишься, — сразу хватить камень и метит прямо в голову. У него в кармане блузы была пара губных гармошек, сказал шериф, в суматохе они выпали — мистер Хелтон нагнулся подобрать, тут-то его и одолели. «*Надо* было применить силу, миссис Томпсон, он отбивался, как дикий зверь». Ну как же, снова с той же горечью думала миссис Томпсон, еще бы не надо. Им всегда обязательно пускать в ход силу. Разве может мистер Томпсон убедить человека на словах и мирно выпроводить за ворота — нет, думала она, поднимаясь и захлопывая дверцу ледника, обязательно надо кого-то убить, стать убийцей, поломать жизнь сыновьям, сделать так, чтобы мистера Хелтона забили насмерть, словно бешеного пса.

Мысли ее прервались беззвучным несильным взрывом, прояснились и потекли дальше. Остальные мистерхелтоновы гармошки по-прежнему находились в хибарке, и каждый день в положенные часы в ушах у миссис Томпсон звучала его песенка. Без нее опустели вечера. Так странно, что название песенки и смысл она узнала, только когда не стало мистера Хелтона. Миссис Томпсон нетвердыми шагами подошла к раковине, выпила воды, выложила в сотейник красную фасоль и стала обваливать в муке куски курицы для жаркого. Было время, сказала она себе, когда я думала, что у меня есть соседи и друзья, было время, когда мы могли высоко держать голову, — было время, когда

мой муж никого не убивал и можно было всем и обо всем говорить правду.

Мистер Томпсон, ворочаясь с боку на бок на кровати, думал, что сделал все, что мог, а дальше будь что будет. Его адвокат, мистер Бэрли, говорил с самого начала: «Вы, главное, не теряйте спокойствия и куражу. Дело обещает благоприятный для вас исход, несмотря даже, что у вас нет свидетелей. Ваша супруга должна присутствовать на суде, в глазах присяжных она послужит веским доводом в вашу пользу. Ваше дело сказать, что не признаете себя виновным, все остальное — моя забота. Суд явится чистой проформой, у вас нет ни малейших причин волноваться. Вы не успеете глазом моргнуть, как выйдете чистеньким, и все останется позади». Во время их беседы мистер Бэрли позволил себе отвлечься и стал рассказывать про известные ему случаи, когда кто-нибудь в здешних местах был по той или иной причине вынужден совершить убийство, и, оказывается, неизменно с целью самообороны, — обыкновенное житейское дело, не более того. Рассказал даже, что его родной отец в давние времена уложил выстрелом человека лишь за то, что посмел зайти к нему за ворота, а ему было сказано, чтоб не смел. «Разумеется, я его застрелил, подлеца, — сказал на суде отец мистера Бэрли, — с целью самообороны. Я же ему *говорил*, что застрелю, ежели хоть ногой ступит ко мне во двор, — он ступил, я и застрелил». Отец с этим человеком, сказал мистер Бэрли, еще задолго до того что-то не поделили, и не один год отец ждал, к чему бы придраться, а уж когда представился случай, безусловно, воспользовался им сполна.

— Но ведь я объяснял вам, мистер Хэтч замахнулся на мистера Хелтона ножом, — настаивал мистер Томпсон. — Потому я и вмешался.

— Тем лучше, — сказал мистер Бэрли. — Этот приезжий не имел никакого права соваться к вам в усадьбу по такому делу. Это же вообще, черт возьми, нельзя расценить как убийство, — сказал мистер Бэрли, — хотя бы и непред-

умышленное. Так что вы, главное дело, держите хвост трубой и нос пистолетом. И чтобы без моего ведома — ни полслова.

Нельзя расценить как убийство. Пришлось накрыть мистера Хэтча брезентом от фургона и ехать в город заявлять шерифу. Элли все это перенесла тяжело. Когда они с шерифом, двумя его помощниками и следователем приехали назад, обнаружилось, что она сидит на мостике, перекинутом через придорожную канаву, недоезжая примерно полумили до фермы. Он посадил ее верхом позади себя и отвез домой. Шерифу он уже сообщил, что вся эта история разыгралась на глазах у его жены, и теперь, отводя ее в комнату и укладывая в постель, улучил минуту шепнуть ей, что говорить, если ей станут задавать вопросы. Про известие, что мистер Хелтон с первого дня был сумасшедшим, он не обмолвился ни словом, однако на суде это выплыло наружу. Следуя наставлениям мистера Бэрли, мистер Томпсон изобразил полнейшее неведение — мистер Хэтч ни о чем таком не заикался. Изобразил, будто убежден, что мистер Хэтч разыскивал мистера Хелтона просто из желания свести с ним какие-то старые счеты, и двое родичей мистера Хэтча, приехавшие добиваться, чтобы мистера Томпсона засудили, уехали ни с чем. Суд прошел быстро и гладко, мистер Бэрли позаботился об этом. За услуги он запросил по-божески, и мистер Томпсон с благодарностью заплатил, но потом, когда все кончилось и мистер Томпсон повадился к нему в контору обсуждать обстоятельства дела, мистер Бэрли встречал его без особой радости. Мистер Томпсон приводил подробности, которые упустил на первых порах, пытался объяснить, какой грязной, низкой скотиной был этот мистер Хэтч, не говоря уже обо всем прочем. Мистера Бэрли это, судя по всему, больше не занимало. Он морщился, досадливо и недовольно, завидев мистера Томпсона в дверях. Мистер Томпсон твердил себе, что он, как и предсказывал мистер Бэрли, чист по всем статьям, но все же, все же... на этом месте мистер Томпсон сбивался и застревал, корчась внутренне, точно червяк на крючке, —

но все же он убил мистера Хэтча, и значит, он убийца. Такова была истина, и ее, применительно к себе, мистер Томпсон не в состоянии был охватить умом, даже когда сам называл себя этим именем. Как же так, ведь у него *в мыслях* не было никого убивать, а уж мистера Хэтча и подавно, и если б только мистер Хелтон не выскочил с такой неожиданностью, заслышав перебранку, тогда... но то-то и беда, что мистер Хелтон услышал и кинулся ему на помощь. Самое непонятное — что случилось дальше. Он же видел, как мистер Хэтч двинулся на мистера Хелтона с ножом, видел, как острие ножа снизу вверх входит мистеру Хелтону в живот и вспарывает его, точно хрячье брюхо, а между тем, когда мистера Хелтона наконец поймали, на нем даже царапины ножевой не оказалось. Опять же, знал мистер Томпсон, что держит в руках топор, чувствовал, как его заносит, но вот как ударил им мистера Хэтча — не помнил. Не помнил, хоть ты что. И точка. Помнил одно — свою решимость отвести от мистера Хелтона руку, которая собралась его зарезать. Он все бы объяснил, если б только представилась возможность. На суде говорить не дали. Задавали вопросы, он отвечал да или нет, а до сути дела так и не добрались. И теперь, после суда, он вот уже неделю с утра умывался, брился, одевался, как на праздник, и, взяв с собой Элли, каждый день отправлялся по соседям, рассказывать всем, никого не пропуская, что вовсе не имел умысла убивать мистера Хэтча, — а что толку? Никто ему не верил. Даже когда, со словами: «Ты при этом была, ты же видела, правда?» — он оглядывался на Элли и Элли неукоснительно и громко отзывалась: «Да, это правда. Мистер Томпсон лишь пытался спасти жизнь мистеру Хелтону», а он подхватывал: «Не верите мне, спросите у жены. Она не соврет», — даже тогда что-то такое виделось ему у них на лицах, от чего он разом сникал, опустошенный и смертельно усталый. Никто не хотел верить, что он — не убийца.

Даже у Элли не нашлось хотя бы слова ему в утешение. Он все надеялся, что наконец-то она скажет: «Знаете,

мистер Томпсон, а я вспомнила — я действительно все успела увидеть, когда вышла из-за дома. Это не ложь. Так что вы, мистер Томпсон, не беспокойтесь». Однако день за днем они катили по дороге в молчании — дни укорачивались, клонясь к осени, но сушь и зной держались прежними, — коляску трясло на ухабах, и Элли ничего не говорила; их уже трепет охватывал при виде каждого нового дома и людей, живущих в нем, все дома теперь были на одно лицо, и люди тоже — будь они старожилы или новые соседи — слушали мистера Томпсона с одним и тем же выражением, когда он объяснял, зачем приехал, и заводил свой рассказ. Глаза у них становились такие, словно кто-нибудь прищемил им пальцами сзади глазное яблоко, — глаза прятались внутрь, меркли. Иные, надев на лицо деланную, застывшую улыбку, старались держаться приветливо: «Да, мистер Томпсон, представляем, каково вам должно быть сейчас. А для вас как ужасно, миссис Томпсон. Да, знаете ли, я уж и сам прихожу к тому, что иначе как силой себя не оборонишь. Ну разумеется, мы вам верим, мистер Томпсон, с какой бы стати мы вздумали вам не верить? Разве не по закону вас судили, не по справедливости? Само собой, вы поступили правильно, мистер Томпсон, мы тоже так считаем».

Мистер Томпсон был совершенно уверен, что они считают не так. Он порой задыхался, до того самый воздух вокруг него был насыщен их укоризной, он пробивался сквозь нее, сжав кулаки, весь в испарине, подавал силы голосу, но в глотке першило от пыли, и наконец уже просто срывался на рык: «Жена не даст мне соврать, вы ее знаете, она была при этом, она все видела и слышала — спросите ее, коли не верите мне!» — и миссис Томпсон, с дрожащим подбородком, крепко, до боли, сплетя пальцы, безотказно говорила: «Да, правда, так оно и было...»

Сегодня, заключил мистер Томпсон, чаша переполнилась. Они подъехали к усадьбе Тома Олбрайта, и Том — старинный Эллин воздыхатель, не он ли как-то обхаживал Элли целое лето — вышел им навстречу с непокрытой го-

ловой и остановил их, когда они собрались выйти из коляски. В замешательстве глядя куда-то мимо, он с озабоченным лицом сообщил, что, к сожалению, не может позвать их к себе, так как к ним нагрянула жена с сестрой с целым выводком детишек, в доме полный разгром и тарарам. «Думали как-нибудь сами выбраться к вам, — сказал мистер Олбрайт, отступая назад и стараясь показать, как ему некогда, — да прорва навалилась дел в последнее время». Им, естественно, оставалось сказать: «Да нет, мы просто проезжали мимо» — и проехать мимо.

— Олбрайты, — заметила миссис Томпсон, — всегда были друзьями до первой беды.

— Да, у этих, точно, своя рубашка ближе к телу, — отозвался мистер Томпсон.

Что, однако же, послужило им обоим слабым утешением.

Наконец миссис Томпсон не выдержала.

— Поехали домой, — сказала она. — Довольно мы наездили, и старый Джим устал, хочет пить.

Мистер Томпсон сказал:

— Может, кстати завернуть к Маклелланам, коль скоро мы уже очутились поблизости.

Завернули. Спросили патлатого мальчонку, дома ли мама с папой. Их хотел бы повидать мистер Томпсон. Мальчонка постоял, разинув рот и тараща глаза, потом сорвался с места и понесся в дом, вопя:

— Папка, мамка, идите сюда! Вас дяденька спрашивает, какой тюкнул мистера Хэтча!

Мужчина вышел к ним в носках, одна подтяжка на плече, другая оборвалась и болтается.

— Вылезайте, мистер Томпсон, заходите, — сказал он. — Старуха выползет сей момент, у ней постирушка.

Миссис Томпсон ощупью сошла с подножки и села в сломанную качалку на крыльце, где половицы прогибались под ногами. Женщина, босая, в ситцевом цветастом капоте, примостилась на краешке крыльца; землистое, толстое ее лицо выдавало огромное любопытство. Мистер Томпсон начал:

— Ну, вы, думается, знаете, у меня стряслись не так давно, как бы выразиться, неприятности, и причем, по при словью, не из тех, какие случаются с людьми каждый день, и поскольку нежелательно, чтобы соседи оставались на этот счет в сомнении... — Он запнулся, потом сбивчиво продолжал, и скверное выражение появилось на лицах у тех двух, что слушали его, жадное и презрительное выражение, которое яснее ясного говорило: «Э-э, плохи же твои дела, и невелика ты птица, коль припожаловал со страху, что *мы* не так пойдем, известно, только бы *мы* тебя здесь и видели, да больше-то припасть не к кому — ну нет, *мы* и то не стали бы так себя ронять». Мистеру Томпсону было стыдно за себя, его вдруг обуяла ярость на это отребье, эту голь перекатную, так бы и сшиб их вместе вонючими лба ми, — но он сдержался, договорил до конца. — Спросите же н у, — сказал он, и это было самое трудное, потому что каждый раз, как он доходил до этого места, Элли, даже пальцем не шелохнув, вся словно бы подбиралась, как будто ее хотели ударить, — она скажет, моя жена не даст соврать.

— Правда, я сама видела...

— Да, история, — сухо произнес мужчина, почесывая себе под рубахой ребра. — А жаль. Ну, а только *мы*-то тут при чем, не пойму. С какой бы нам радости встречать, не пойму я, в эти мокрые дела. Ко мне-то оно ни с какого бока не касается, как ни погляди. Хотя спасибо, что потрудились, заехали, будем знать, по крайности, как и что, а то пона-слушались *мы* не разбери чего, сумнительно, и даже очень, понаплели нам с три короба.

— Про одно про это трезвонят, всяк кому не лень, — сказала женщина. — Убивать взяли моду, а *мы*, например, не согласны, и в Писании сказано...

— Заткни х а й ло, — сказал мужчина, — и больше не разе-вай, не то я тебе сам его заткну. Я, то есть, к чему веду...

— Нам пора, не будем вас задерживать, — сказала мис-сис Томпсон, расплетая пальцы. — *Мы* и так задержались. Час поздний, а нам еще ехать в какую даль. — Мистер Томпсон, поняв намек, последовал за нею. Мужчина и



женщина, прислонясь к хлипким столбикам крыльца, провожали их глазами.

И вот сейчас, лежа на кровати, мистер Томпсон понял, что настал конец. Сей час, сию минуту, лежа на той кровати, где восемнадцать лет спал он вместе с Элли, под крышей, которую собственноручно крыл дранкой накануне женитьбы, и привычно поглаживая пальцами костлявый подбородок, уже обметанный щетиной, хотя только с утра был брит, мистер Томпсон — такой, каким волею судьбы уродился, — понял, что он конченный человек. Конченный для той жизни, какая была до сих пор; сам не ведая почему, дошел до крайней черты, откуда надобно начинать сызнова, но как, он не знал. Нечто иное начиналось отсюда, но он не знал что. Впрочем, это, в каком-то смысле, и не его была забота. От него, предчувствовал он, тут будет мало что зависеть. Разбитый, пустой, он поднялся и пошел на кухню, где у миссис Томпсон как раз поспел ужин.

— Ребят зовите, — сказала миссис Томпсон. Мальчики были в сарае, выходя, Артур задул фонарь и повесил его на гвоздь возле двери. Мистеру Томпсону было не по себе от их молчания. Они двумя словами не обменялись с ним с того дня. словно бы избегали его, управлялись на ферме вдвоем, точно его не существовало, делали все, что надо по хозяйству, не спрашивая его совета.

— Ну, докладывайте, чем занимались? — спросил он нарочито бодрым голосом. — Чай, делов наворочали?

— Нет, с э р, — отвечал Артур, — делов не особо много. Так, оси смазали кое-где.

Герберт промолчал. Миссис Томпсон склонила голову.

— За хлеб наш насущный, Господи... а м и н ь, — прошептала она неслышно, и Томпсоны, опустив глаза, сидели со скорбными лицами, точно на похоронах.

Всякий раз, едва мистер Томпсон закрывал глаза, силясь уснуть, мысль его пробуждалась и куда-то неслась без устали, петляя точно заяц. Она перескакивала с одного на другое, металась туда, сюда, пытаясь напасть на след, который

выведет его к тому, что произошло на самом деле в тот день, когда он убил мистера Хэтча. Напрасно; несмотря на все потуги, мистертомпсонова мысль лишь возвращалась на то же, прежнее место, перед глазами стояло лишь то же, что явилось им первый раз; хоть он и знал, что этого не было. Но если тогда, в первый раз, он видел то, чего не было, значит, убийству мистера Хэтча, с начала и до конца, нет оправдания, тогда уже ничего не изменишь и трепыхаться незачем. Ему и сейчас казалось, что он в тот день сделал, возможно, не то, что полагается, но уж, во всяком случае, то единственное, что ему оставалось, — да так ли это? *Была ли надобность убивать мистера Хэтча!* Ни разу в жизни он не встречал человека, который с первой минуты внушил бы ему такую неприязнь. Он прямо кожей ощущал, что этот хмырь явился сюда пакостить. Одно только, по прошествии времени, казалось необъяснимым: отчего нельзя было попросту послать мистера Хэтча куда подальше, не дожидаясь, пока он подойдет ближе?

Миссис Томпсон, скрестив руки на груди, лежала рядом неподвижно и тихо, но почему-то чувствовалось, что она не спит.

— Спишь, Элли?

В конце концов, он мог, пожалуй, отделаться от мистера Хэтча и по-хорошему, а в крайнем случае скрутить его, надеть эти самые наручники и сдать шерифу за нарушение порядка. Подержали бы взаперти денька два, на худой конец, покамест не поостынет, либо штрафанули. Он старался придумать, как еще можно было повернуть разговор с мистером Хэтчем. Хм, ну, допустим, сказать ему хотя бы так, послушайте, мистер Хэтч, давайте говорить как мужчина с женщиной. Но дальше этого у него не шло. Что бы такое можно было в тот день сказать или сделать? Но если *можно* было в тот день сделать что-то другое — что угодно, практически, — а не убивать мистера Хэтча, тогда ничего бы не случилось с мистером Хелтоном. Про мистера Хелтона мистер Томпсон почти не думал. Его мысль перескакивала через мистера Хелтона и, не задерживаясь, неслась дальше.

Если бы задержаться, задуматься, то пиши пропало, вовсе ни к чему не придешь. Он попробовал вообразить, как могло бы все быть сегодня, в этот самый вечер, будь мистер Хелтон цел и невредим, — сидел бы сейчас в своей хибарке и наигрывал песенку о том, как хорошо на душе поутру, не утерпишь и выпьешь все вино до дна, чтобы стало еще лучше, а мистер Хэтч куковал бы где-нибудь в тюряге, от греха подальше, злой как собака, скорей всего, зато поневоле готовый урезониться и заречься делать подлости, сукин сын, гад ползучий, кто его трогал, так нет же, явился терзать безобидного человека, сгубил ни за что ни про что целую семью! Мистер Томпсон почувствовал, как на лбу у него выступают жилы, пальцы сжимаются, хватаясь за невидимое топорище, его прошиб пот, с гортанным сдавленным криком он сорвался с постели, и Элли вскинулась следом, восклицая: «Ой, нет, нет, не надо! Нет!» — точно в бреду. Он стоял, сотрясаемый такой дрожью, что стучали зубы, и хрипло твердил:

— Зажги лампу, Элли, зажги лампу.

Вместо этого миссис Томпсон издала слабый и пронзительный вопль, почти такой же, какой он слышал в тот день, когда стоял с топором в руке и она показалась из-за дома. Ее было не разглядеть в темноте, он только знал, что она неистово катается по кровати. В ужасе он потянулся к ней наугад, нашарил поднятые руки, ее пальцы судорожно рвали волосы на запрокинутой голове, напрягшаяся шея содрогалась от задушенных воплей.

— Артур, Герберт! — гаркнул он, и голос у него сорвался я . — Маме плохо!

Когда они ввалились в дверь, Артур — с лампой, поднятой над головой, он удерживал миссис Томпсон за руки. При свете мистер Томпсон увидел ее глаза, широко открытые, они смотрели на него страшным взглядом, слезы лились из них рекой. При виде сыновей она выпрямилась, протянула к ним руку, нелепо вращая в воздухе ладонью, опрокинулась назад на кровать и внезапно обмякла. Артур поставил лампу на стол и надвинулся на мистера Томпсона.

— Она боится, — сказал он. — Бойтся до смерти.

Лицо его было сведено гневом, кулаки сжаты, он наступал на отца, словно готовый ударить его. У мистера Томпсона отвалилась челюсть, он до того оторопел, что попытился от кровати. Герберт подошел к ней с другой стороны. Они стояли по обе стороны миссис Томпсон, в упор глядя на мистера Томпсона, как глядят на опасного дикого зверя.

— Что ты ей сделал? — крикнул Артур голосом взрослого мужчины. — Только тронь ее еще, я из тебя душу выну!

Герберт стоял бледный, у него подергивалась щека, но он был на стороне Артура, он не задумываясь пришел бы Артуру на помощь.

Из мистера Томпсона точно выпустили весь воздух. Колени у него подломились, плечи бессильно поникли.

— погоди, Артур, — сказал он, с трудом ворочая языком и прерывисто дыша. — Она опять потеряла сознание. Принеси нашатырный спирт.

Артур не двинулся с места. Герберт сходил и издалека протянул отцу пузырек.

Мистер Томпсон поднес его к носу миссис Томпсон. Плеснул себе на ладонь и потер ей лоб. Она судорожно глотнула воздух, открыла глаза и отвернулась от мужа. Герберт безнадежно заскулил, шмыгая носом.

— Мам, не умирай, — приговаривал он. — А, мам?

— Мне уже лучше, — сказала миссис Томпсон. — Ну что вы все набезали, успокойтесь. Герберт, так нельзя. Мне уже хорошо.

Она закрыла глаза. Мистер Томпсон стал натягивать брюки от своего парадного костюма, надел носки, ботинки. Мальчики сидели с двух сторон на краю постели, не сводя глаз с лица миссис Томпсон. Он сказал:

— Съездию, пожалуй, за доктором. Не нравятся мне эти обмороки. Вы ее тут постерегите без меня. — Они слушали, но не отзывались. Он сказал: — Не берите себе в голову чего нет. Я вашей матери в жизни не сделал худого, по своей воле. — Он вышел и, оглянувшись, увидел, что Герберт смот-

рит на него исподлобья, как на чужого. — Так вы поберегите ее, — сказал мистер Томпсон.

Мистер Томпсон прошел на кухню. Там он зажег фонарь, достал с полки, на которой ребята держали учебники, тонкий черновой блокнот и огрызок карандаша. Повесил фонарь на руку и полез в чулан, где у него хранилось оружие. Дробовик висел прямо под рукой, заряженный и в полной готовности, — мало ли в какую минуту человеку может понадобиться дробовик. Он вышел из дома, не глядя по сторонам, не оглядываясь, когда дом остался позади, вслепую миновал сарай, держа путь к самой дальней оконечности своих угодий, которые тянулись на полмили в восточном направлении. Столько ударов обрушилось на мистера Томпсона и со столько сторон, что не имело уже никакого смысла подсчитывать увечья. Он шел вперед то пашней, то луговиной, осторожно, дробовиком вперед, пролезая через ограды из колючей проволоки, глаза его привыкли к темноте и смутно различали предметы. Наконец дошел до крайней ограды, тут он сел, прислонясь спиной к столбу, поставил рядом фонарь, пристроил блокнот на колене и, посплюнув карандашный огрызок, начал писать:

«Как перед Господом Богом, всемогущим судьей на которого суд я предстану в самом скором времени, настоящим торжественно клянусь и заверяю, что я не по умыслу лишил жизни мистера Гомера Т. Хэтча. Это получилось защищая мистера Хелтона. Я ударил топором не для ради членовредительства, а только из цели не подпустить его к мистеру Хелтону. Он пошел на мистера Хелтона с ножом, который про это не подозревал. Я тогда был уверен, что мистер Хэтч убьет мистера Хелтона, если ему не помешать. Все это я рассказал судье и присяжным, и меня оправдали, но никто не верит, что это правда. У меня есть один способ доказать, что я не злодей душегубец как про меня теперь все понимают. Так же само сделал бы для меня мистер Хелтон, когда бы на его месте был бы я. Я до сих пор думаю, что мне не оставалось ничего другого. Моя жена...»

Здесь мистер Томпсон остановился и подумал. Посплюнил

кончик карандаша и зачеркнул последние два слова. Посидел еще, вымарывая их, покуда не вывел на том месте, где были эти слова, аккуратное продолговатое пятно, и тогда пошел дальше:

«Это мистер Гомер Т. Хэтч пришел чинить зло неповинному человеку. Он причина всех этих несчастий и заслуживал смерти, только жаль, что убить его выпало мне».

Он опять лизнул кончик карандаша, старательно подписался полным именем, потом сложил бумажку и сунул в наружный карман. Сняв с правой ноги ботинок и носок, он упер дробовик в землю затыльником приклада, направив спаренные стволы себе в лоб. Получилось очень неудобно. Он немного поразмыслил над этим, опершись головой на дула дробовика. Его била дрожь, он оглох и ослеп от стука в висках, но он все же лег плашмя на землю, повернулся на бок, подставил дула себе к подбородку и большим пальцем ноги нащупал курок. Таким манером оказалось способнее.

# Содержание

5 *А. Мулярчик. «Пока хоть листик у надежды бьется...»*

## РАССКАЗЫ

- 13 *Веревка. Перевод Л. Беспаловой*  
21 *Гасиенда. Перевод Л. Беспаловой*  
67 *Передышка. Перевод Татьяны Ивановой*

## ПОВЕСТИ

- 101 *Тщета земная. Перевод Н. Галь*  
162 *Полуденное вино. Перевод М. Кан*

**Портер К. Э.**

П60 Полуденное вино: Повести и рассказы /  
Пер. с англ. Сост. Н. Знаменской. Предисл.  
А. Мулярчика. — М.: Известия, 1985. —  
224 с. (Библиотека журнала «Иностранная  
литература»)

Книга включает повести и рассказы разных лет, место действия  
их — США и Мексика. Писательница «ожной школы», К. Э. Пор-  
тер, в силу своего объективного, гуманистического видения, приходит  
к развенчанию «южного мифа» — романтического изображения  
прошлого американского Юга.

П  $\frac{470300000-098}{074(02)-85}$  87—85

ББК 84. 7 США  
И (Амер)

КЭТРИН ЭНН ПОРТЕР  
ПОЛУДЕННОЕ ВИНО

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *Т. Иванова*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 933

---

Сдано в набор 27.09.84. Подписано в печать 7.02.85. Формат  
70x100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс».  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,1. Усл. кр.-отт. 18,5.  
Уч.-изд. л. 10,86. Тираж 50 000 экз. Заказ № 951.  
Цена 1 р. 20 к.

---

Издательство «Известия Советов народных депутатов  
СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

---

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при  
Государственном комитете СССР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул.  
Мира, 93.

---







## **Кэтрин Энн Портер**

(1890—1980) —

признанный мастер американской прозы XX века. Первая книга рассказов писательницы — "Цветущее Иудино дерево" — сразу получила высокую оценку американской критики. В 1939 году вышел

сборник "Бледный конь, бледный всадник" — три повести, которые выдвинули Портер в ряд ведущих американских прозаиков, — а в 1962 году был опубликован имевший шумный успех роман "Корабль дураков".

"Полуденное вино" — первая на русском языке книга К. Э. Портер (известной нашему читателю лишь по отдельным публикациям), в которую вошли повести и рассказы разных лет.

Проза Портер привлекает гуманистической направленностью, тонким психологизмом, отточенностью стиля, сочетанием лирического начала с иронией.